



GRUNDRISSE

АРХИВ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Мих. Лифшиц

М О Н Т Е Н Ь
ВЫПИСКИ И КОММЕНТАРИИ
1930-е гг.

2012

G R U N D R I S S E
МОСКВА

Публикация: В.М. Герман, А.М. Пичилян, В.Г. Арсланов

Издательство благодарит за содействие в публикации
директора Архива РАН В.Ю. Афиани
и зав. отделом Архива РАН Е.В. Тугову

Работа с французскими текстами: Мария Лепилова
Компьютерная обработка материалов: Анна Лунева

Издание подготовлено Архивом Лифшица и Институтом Лифшица

Издание осуществлено при поддержке Дмитрия Аксёнова

Издатель: Надежда Гугова
ООО «Издательство Грюндриссе»
e-mail: info@grundrisse.ru
<http://www.grundrisse.ru>

Корректор: Анатолий Ботвин
Вёрстка: Сергей Введенский

Мих. Лифшиц. Монтень. Выписки и комментарии. 1930-е гг. –
М.: ООО «Издательство Грюндриссе», 2012. – 152 с.

ISBN 978-5-904099-04-6
Тираж 300 экз.

© ООО «Издательство Грюндриссе»
© Архив РАН
© М.А. Лифшиц, авторский текст

«Выписки и комментарии» Мих. Лифшица относятся к первой книге «Опытов» Монтеня (в настоящее время хранятся в Архиве РАН, папка № 51, рукопись, и папка № 52, соответствующая рукописи машинопись)*. В этих же папках хранится несколько страниц выписок из первых глав второго тома, не включённых в настоящее издание. Также в данную публикацию не вошли многочисленные замечания Лифшица о Монтене, находящиеся в других папках архива.

Лифшиц делал выписки в 1930-е гг., возможно, для текста о Монтене, который не был им написан, или они были подготовительной работой к предполагавшейся публикации «Опытов» в издательстве «ACADEMIA», главным редактором которого Лифшиц являлся в те годы.

В «Выписках» прямые цитаты из Монтеня соединяются со сжатым пересказом отдельных глав «Опытов» и комментариями самого Лифшица. Макетировка текста в настоящей публикации принадлежит редакции, и в ней комментарии Лифшица, иногда неотделимые от пересказа, выделены сдвигом влево.

Свободное изложение содержания глав и цитаты из Монтеня, часто у Лифшица приведённые без кавычек, также переходят друг в друга.

Все примечания к тексту сделаны Мих. Лифшицем, за исключением особо отмеченных. Выделенные места в тексте, набранные курсивом, принадлежат Лифшицу. Добавления от редакции даны в угловых скобках.

* Мих. Лифшиц работал с переводом «Опытов» Монтеня, выполненным В. Рудневым, который никогда не был опубликован (Архив РАН, архив М.А. Лифшица, папка № 50, машинопись). Этот перевод отличается от перевода, вышедшего в серии «Литературные памятники» в 1954–1960 гг.

Хотя работа о Монтене не была Лифшицем завершена, его краткие комментарии и даже одно слово порой меняют привычное впечатление о тексте.

«Неосуществлённое входит в общий баланс осуществления целого и часто бывает ближе к сердцу его, как первый набросок может быть ближе к цели, чем законченная картина», – писал Лифшиц в конце жизни.

К Монтеню у Михаила Александровича было особое отношение, как и к породившей его эпохе, которой удалось пройти между молотом и наковальней истории. У французского писателя Лифшиц находит стиль мышления, в определённой мере более широкий и свободный, чем логика «сумрачного германского гения» Гегеля.

Мих. Лифшиц

Монтень. Выписки.

Том первый. Книга первая

пер. В. Руднева.

От автора к читателю (1 марта 1580 г.)

Предисловие о естественной свободе: V

Глава I. Различными средствами достигая одинаковой цели.
Сострадание и уважение. Не дабы своим отрицанием
к мёртвым, можно было достигнуть того же, за что себя ува-
жать т.е. из-за намерения. Монтень более склонен к ^{тщеславия}
"самоуважению", чем к "уважению" (вот почему издал эти книги)
Это — ^{свобода} свободолюбивая. Хотел карать способен иногда и
уважать того, кто идет ему наперекор: V [стр. 3]

Повидимому масса ~~чуждого~~ способна понимать
внутреннее слово доблести, чаще всего жалости, а иногда
и другое virtue.

„ По терпению, изумительное ~~судение~~ ... V [стр. 4]

Множество ^{илигда} заблуждений, которых не останавливает ни
жалость ни уважение. Враг — неслыханно человек и
отсутствие прочной души.

Глава II О ссоры

В припадке к мидии V [стр. 6-7]

Здесь монтень отвергает (стр. 7) стремление к толпе,
верно у стоиков отрицание к ~~познанию~~ ссоры.

Вспомогательная ссора и ссора в разводе. Вспомогательная
ссора неграмотная. Небес преграждает в камне. Вспомогательная

МОНТЕНЬ
ОПЫТЫ
Том первый. Книга первая
Пер. В. Руднева

От автора к читателю (1 марта 1580 г.). Представление
об естественном состоянии свободы:

«Я хочу показаться на глаза в своём самом простом, естественном и обыденном виде, непринуждённо и безыскусственно, ибо я рисую самого себя. Но и недостатки предстанут здесь как живые, а также и мой естественный облик, насколько это позволяет уважение к публике. Если бы я принадлежал к одному из тех народов, которые, как говорят, до сих пор ещё живут в сладостной свободе первоначальных законов природы, то, уверяю тебя, я с большой охотой нарисовал бы себя целиком и совершенно голым».

ГЛАВА I. РАЗЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДОСТИГАЕТСЯ ОДИНАКОВАЯ ЦЕЛЬ

Сострадание и уважение. Не добившись своим обращением первого, можно часто добиться того же, заставив себя уважать, т.е. идя наперекор. Монтень более склонен к «состраданию», чем к «уважению» (вопреки идеям стоиков). Это – черта простонародная. Хотя народ способен иногда и уважать того, кто идёт ему наперекор:

«Можно сказать, что восприимчивость к состраданию есть признак слабости, добродушия и мягкости, откуда и проистекает, что натуры более слабые, каковы женщины, дети и простонародье, наиболее этому подвержены; если же человек, презирая слёзы и жалобы, движим только уважением к священному образу добродетели, то это есть признак души сильной и неумолимой, любящей и почитающей упорную мужественную твёрдость. Тем не менее, и в душах не столь благородных удивление и восхищение могут вызвать подобное же действие; свидетельство тому – фивский народ: возбудив уголовное преследование против своих начальников за то, что они продолжали оставаться у власти долее предписанного и установленного для них срока, он с большим трудом помиловал Пелопида, который был подавлен тяжестью этих обвинений и для своей защиты прибегал только к просьбам и мольбам; между тем те же фивяне не решились даже притро-

нуться к баллотировочным шарам, чтобы судить Эпаминонда, который величественно говорил о свершённых им деяниях и упрекал народ с гордым и вызывающим видом; они удалились с собрания, восхваляя возвышенное мужество этого человека¹».

По-видимому, масса способна испытывать изумление перед доблестью, чаще всего жалость, а иногда и то и другое вместе.

«Поистине, изумительно суетное, непостоянное и колеблющееся существо – человек: трудно установить относительно него какое-либо постоянное и неизменное суждение...»

Жестокость завоевателей, которых иногда не останавливает ни жалость, ни уважение.

Итак – непостоянство человека и отсутствие прочной истины.

ГЛАВА II. О СКОРБИ

«Я принадлежу к людям, наименее подверженным этой страсти, не люблю и не уважаю её, хотя весь свет стремится, как бы по заказу, окружить её особым почётом, облакает её в одеяния мудрости, добродетели, совести: глупое и чудовищное разукрашивание! Итальянцы окрестили её более подходящим именем «злобы»², ибо это качество всегда вредоносное, всегда безрассудное; и, как чувство трусливое и низменное, стойки воспрещают скорбь своему мудрецу».

Здесь Монтень, отвергающий (гл. 1) стоическое пренебрежение к жалости, берёт у стоиков отвращение к скорби.

Высшая форма скорби переходит в равнодушие. Высшая скорбь неизобразима. Ниобея превращается в камень, вследствие этого способность испытывать скорбь, плакать и т.д. есть уже некоторое облегчение, «освобождение от пут».

Вообще сильное чувство переходит в бесчувствие, в изнеможение. Пример – «ледяной холод», охватывающий влюблённых под влиянием крайней пылкости. «Лишь умеренные страсти в состоянии мы вкушать и переваривать». Смерть от радости и т.п.

«Я мало подвержен этим неистовым страстям; моя восприимчивость от природы груба, и чем более я размышляю, тем более она обрастает корой и притупляется».

Итак – переход из одной противоположности в другую в случаях крайней резкости чувства. Лишь среднее поддаётся человеческому восприятию вообще. Необходимость известной грубости и невосприимчивости. Переход излишней утончённости и развития чувств в недостаток.

ГЛАВА III. НАШИ ДУШЕВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ УВЛЕКАЮТ НАС ЗА ПРЕДЕЛЫ НАС САМИХ

«Те, которые обвиняют людей в том, что они всегда жадно устремлены к будущему, и учат нас держаться благ настоящего и довольствоваться ими, ибо грядущее так же мало находится в нашем обладании, как и прошлое, затрагивают одну из самых распространённых человеческих ошибок, если только позволено назвать ошибкой вещь, на которую наталкивает нас сама природа, с тем, чтобы мы продолжали её дело; природа внедряет в нас, наряду с прочим, это ложное воображение, более заботясь о наших действиях, чем о нашем познании. Мы никогда не находимся у себя: мы всегда вне себя: опасение, желание, надежда бросают нас в будущее, лишают способности ощущать и созерцать то, что есть, ради удовольствия забавляться тем, что будет, быть может, даже тогда, когда нас уже не будет. *Calamitosus est animus futuri anxius*³».

Выход за пределы нас самих есть ошибка, но она вложена в нас природой, которая заботится о *наших действиях*. Эта ошибка нужна для продолжения дела природы. Но можно привести её к менее опасному виду:

«Вот великая заповедь, на которую часто ссылается Платон: «Делай своё дело и познай себя». Каждая из двух частей этого предписания объемлет наш долг

целиком и вместе с тем объемлет другую часть. Тот, кто захочет делать своё дело, увидит тотчас же, что первая его задача – это узнать, что он такое и что ему свойственно; а кто познал себя, не примет уже чужое дело за своё; он прежде всего любит и совершенствует себя, отвергая всякие излишние занятия, бесполезные мысли и предложения...»

Делай своё дело, но не обманывайся, не заглядывай слишком далеко, и ты будешь делать своё дело ещё лучше, чем раньше. Итак – разумная умеренность стремления так же необходима для продолжения дела природы, как и само стремление. Наоборот – чрезмерное забвение настоящего вредно для той же непрерывности развития. Идеал равномерного движения.

После смерти должно совершиться правосудие. Стремление к одностороннему прославлению монархов после их смерти несправедливо (хотя при жизни их им следует подчиняться). После смерти наше дело кончено. И здесь не должно быть исключений. Народ, терпевший дурного короля, должен быть вознаграждён за это, а его господин наказан в мнении людей.

«Среди правил, касающихся усопших, мне кажется наиболее обоснованным то, которое предписывает обсуждать деяния государей после их смерти⁴. Воля государей стоит наравне с законами или даже господствует над ними; ту власть, которой правосудие лишено по отношению к ним самим, справедливо предоставить ему по отношению к их доброму имени, достоянию их преемников, – вещь, которую мы часто предпочитаем самой жизни. Это обычай,

чрезвычайно полезный для тех народов, у которых он соблюдается, и желательный для всех добрых государей, которые иначе могли бы пожаловаться на то, что их память и память дурных государей окружается одинаковым почётом. Оказывать покорность и повиновение мы обязаны в равной степени всем королям, ибо это относится к их сану; но уважение, а тем более любовь мы должны питать только к их добродетели. Ради государственного порядка будем терпеливо сносить их, недостойных, скрывать их порок, поддерживать нашим одобрением их безразличные деяния, пока их авторитет нуждается в нашей поддержке; но раз окончена наша связь с ними, нет основания отказывать справедливости и нашей свободе в праве выразить наши истинные чувства; в особенности, не следует лишать добрых подданных славы почтительных и верных слуг господина, недостатки которого им были хорошо известны; этим и потомство было бы лишено столь полезного примера. И те, которые в уважение к каким-либо личным обязательствам несправедливо прославляют память государя, не заслуживающего похвалы, удовлетворяют справедливости частной за счёт справедливости общественной. Тит Ливий правильно говорит, что «язык людей, воспитанных в монархии, всегда полон пустого чванства и ложных свидетельств»⁵. Каждый стремится поднять своего монарха на высшую ступень значения и державного величия...»

Своеобразный демократизм в духе греческого равенства перед лицом Аида; чувства, выраженные здесь, вполне народны и выдержаны в обычном для Монтеня духе уме-

ренности и подчинения, сознания собственного достоинства и сознания относительности всякого величия. Итак – для Монтеня, по крайней мере, в идеальном мире славы, господствуют справедливость и равенство, оценка не по занимаемому месту, а по личным заслугам и добродетелям, что неприменимо в самой исторической жизни народов. Он осуждает спартанцев за чрезмерные проявления скорби после смерти царя и обычай восхвалять его независимо от личных достоинств умершего.

«Никто не может быть назван счастливым, пока он не умер», сказал Солон. Но когда человек умер, он уже не может быть счастлив. «Не лучше ли было бы поэтому Солону сказать, что человек никогда не может быть счастливым, ибо он смог бы стать таковым лишь после того, как уже перестал существовать».

С особенным неудовольствием отзывается Монтень о тех, кто слишком заботится о своей земной карьере после смерти, о церемониях погребения и т.д., и вообще о всех, кто не может понять, что после смерти он уже не существует. Впрочем, эти люди счастливы в своём заблуждении.

Мимоходом высказывается он о своём политическом идеале:

«Я почти готов проникнуться непримиримой ненавистью ко всякому народоправству, хотя эта форма правления представляется мне самой естественной и правильной, когда вспоминаю о бесчеловечности и несправедливости афинского народа, который приговорил к смерти без помилования, не по-

желав даже выслушать оправдания, своих храбрых военачальников, вернувшихся после выигранной ими у лакедемонян морской битвы близ Аргинусских островов, – самой упорной и жестокой из всех битв, какие когда-либо выдержали морские силы греков. Вина осуждённых состояла в том, что после победы они действовали, как того требовала военная обстановка, вместо того, чтобы остановиться собирать тела своих убитых и предавать их земле».

Впрочем, нужно понимать, что этот идеал имеет теоретический характер, так же, как посмертная справедливость.

ГЛАВА IV. КАК ДУША ОБРАЩАЕТ СВОИ СТРАХИ НА ЛОЖНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ЗА НЕИМЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ

К эстетике Монтеня:

«И в самом деле, подобно тому, как, подняв руку для удара, мы чувствуем неудовольствие, если удар наш ничего не встречает и падает в пустоту; подобно тому, как открывшийся перед нами вид будет приятен лишь в том случае, если взор наш не теряется в неопределённом пространстве, но встречает на подходящем расстоянии холм, на котором он может задержаться...»

Старинное пластическое воззрение. Против бесконечного, бесцельного, беспредметного блуждания взора в пространстве. Требование определённости, законченности, успокоения.

Чтобы разрядить свои чувства, мы прибегаем к самым разнообразным предметам, изливаем своё горе или нежные чувства каким угодно способом, лишь бы остаться в бездействии. Насмешки над чрезмерным гневом и тщеславием великих мира сего, разнообразные примеры.

ГЛАВА V. ДОЛЖЕН ЛИ НАЧАЛЬНИК ОСАЖДЁННОЙ КРЕПОСТИ ВЫХОДИТЬ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

Глава посвящена выяснению вопроса о том, допустима ли хитрость на войне. Не всё ли равно, как победить? Как правило, выходить из крепости не надо, это опасно; но бывают случаи, когда переговоры приводят к лучшему.

«Я вообще легко доверяюсь людям; но мне трудно было бы это сделать, если бы имелся повод думать, что я поступаю так в силу безвыходности положения, скрепя сердце, а не по свободному желанию, из доверия к добросовестности других людей».

ГЛАВА VI. ЧАС ПЕРЕГОВОРОВ – ОПАСНЫЙ ЧАС

Основное содержание главы: в наше время, весьма далёкое от честности, не следует доверять друг другу, особенно во время переговоров. Впрочем, и древние нередко считали, что зло, причиняемое неприятелю, выше справедливости. «Война естественно имеет много привилегий над разумом и в ущерб ему». Однако существуют известные правила честности, впрочем, весьма условные.

ГЛАВА VII. О ТОМ, ЧТО НАШИ ПОСТУПКИ НАДО СУДИТЬ ПО НАШИМ НАМЕРЕНИЯМ

Ложное осуществление обязательства, при одновременном обходе его посредством уловки, непростительно. Неосуществление данного обязательства в силу фактической невозможности равносильно осуществлению.

Рассуждения и примеры примыкают к рыцарскому правилу доверия, высказанному Монтенем в конце главы пятой. Истинно аристократического в области понимания чести у Монтеня вообще очень много. И это совмещается с осмеиванием крайностей спеси, чванства, тщеславия, фразёрства и прочих исторических добродетелей шляхетства. Истинно аристократическая умеренность «порядочного человека» является, таким образом, шагом к республиканскому рыцарству буржуазной демократии, к идеалу общественного равенства и даже к кантовскому закону субъективной морали. Но ступень эта по-своему выше последующей. Субъективная мораль позднейшей буржуазной идеологии заключает в себе гораздо меньше истинно человеческих черт. В ней заключён нравственный иезуитизм, приводящий к полной бесчеловечности, к самообожанию субъекта, полужангела, полужверя, к идеалистическому, высокопарному оправданию чистотой намерений всякой гнусности в мире. Эту глубокую внутреннюю непорядочность бур-

жуазного самосознания, субъекта, ограниченного буржуазным кругозором, заметил и прекрасно изобразил Констан в своём «Адольфе».

Ещё несколько тонких замечаний. Жить надо так, чтобы не откладывать ни добра, ни зла, ни воздаяния, ни мести на время своей смерти. «Я, насколько могу, остерегусь, чтобы смертью своей не сказать чего-нибудь такого, что не было раньше сказано моей жизнью». Тот, кто поступает иначе, мало заботится о своей чести.

ГЛАВА VIII. О ПРАЗДНОСТИ

«Подобно тому, как пустующие земли, если они жирны и плодоносны, обильно зарастают сотнями тысяч сортов диких и бесполезных трав, и, чтобы держать их в надлежащем состоянии, их надо обрабатывать и засеивать определёнными полезными для нас семенами; и подобно тому, как женщины, предоставленные самим себе, могут произвести только бесформенные груды мяса, а чтобы создать хорошее и естественное поколение, нуждаются в семени со стороны, точно так же и наши умы: если мы не займём их определёнными предметами, которые их ограничивают и держат в узде, они беспорядочно кидаются туда и сюда по беспредельному полю воображения».

«Ум, перед которым не поставлено никакой цели, теряется, ибо, как говорится, быть везде – значит не быть нигде».

*Quisquis ubique habitat, Maxime, nusquam habitat*⁶.

Химеры, чудовищные фантазии, всякие бредни – результаты праздности и беспредметной деятельности ума. Итак – ограничение, узда необходимы. Но, по-видимому, ограничения внутреннего, свободного порядка.

ГЛАВА IX. О ЛЖЕЦАХ

Монтень признаётся в исключительной слабости своей памяти, но это, в сущности, лишь способ нападения на людей, которые не видят различия между памятью и рассудком.

«Прекрасная память охотно соединяется с шаткими суждениями. По мере ослабления памяти могут возрасти другие способности. В недостатке памяти заключена опора для исправления худшего недостатка – сомнения. Слишком развитая память мешает краткости речи и глубине суждения. Есть и другие достоинства плохой памяти, среди которых – неспособность запомнить все обиды, понесённые нами».

Разница между ошибкой и ложью. Лгать трудно, лучше выдумать всё целиком, чем исказить истину по частям. В последнем случае память легко может изменить. Истина крепче сидит в нашем сознании, запечатлеваясь в памяти первой.

«В самом деле, ложь есть гнусный порок: мы являемся людьми, мы связаны друг с другом только благодаря слову. И если бы мы сознавали весь ужас и всю тяжесть этого порока, мы преследовали бы его более жестоко, чем все прочие преступления. Я нахожу, что обычно любят наказывать детей по пустякам, за невинные прегрешения и мучат их за преходящие

проступки, которые не производят впечатления и не оставляют последствий. Только лживость и, в несколько меньшей степени, упрямство кажутся мне такими пороками, с зарождением и развитием которых надо вести беспощадную борьбу; они растут вместе с людьми; и раз язык вступил на путь лживости, поразительно, до какой степени невозможно совлечь его с этого пути; оттого-то и происходит, что мы видим порядочных людей, подверженных этому пороку и порабощённых им».

ГЛАВА X. О РЕЧИ БЫСТРОЙ И МЕДЛЕННОЙ

«Производить свои операции быстро и внезапно свойственно преимущественно логическому суждению. Однако и тот, кто остаётся совершенно немым, если не имеет досуга, чтобы подготовиться, и тот, кто вовсе не нуждается в досуге для подготовки, представляют одинаково редкие исключения».

Иногда раздражение во время речи делает нас красноречивыми. Часто без предварительного обдумывания мы говорим лучше. Произведения, создаваемые преимущественно усидчивым трудом, «воняют маслом и лампой». Излишняя напряжённость создаёт помехи и препоны. Нужно, очевидно, нечто среднее.

«Что касается того свойства натуры, о котором я говорю, то случается и так, что оно не требует потрясения и раздражения сильными страстями, как гнев Кассия (ибо это душевное движение всё же слишком грубо), душа хочет не сотрясения, а возбуждения; она хочет, чтобы её подогревали и подбадривали посторонние впечатления, внешние и неожиданные; если она остаётся наедине сама с собой, она замирает и томится; возбуждение – её жизнь и её благодать».

«Устное слово стоит больше, чем написанное, если только можно сравнивать по стоимости то, что не имеет никаких цен».

ГЛАВА XI. О ПРЕДСКАЗАНИЯХ БУДУЩЕГО

Выпады против желания нашего знать будущее. Роль случая, правота иррационального, жребий:

«Я предпочёл бы руководиться в своих делах скорее жребием, бросанием костей, нежели грёзами подобного рода. И в самом деле, во всех республиках жребий пользовался значительным авторитетом. Платон в том идеальном благоустройстве, которое он измышляет по своему желанию, устанавливает решение многих важных дел по жребию; он хочет, между прочим, чтобы по жребию совершались браки между добрыми гражданами, и придаёт такое большое значение этому случайному выбору, что дети, рождённые от таких браков, должны воспитываться внутри страны; а те, которые рождены дурными гражданами, изгоняются; однако, если случится так, что кто-либо из этих изгнанников, подрастая, будет подавать хорошие надежды, он может быть возвращён обратно; равным образом, может быть изгнан тот из оставленных, который в юности будет подавать мало надежд».

Люди, потерпевшие от общественных смут, отбрасывая собственный рассудок, охотно предаются всяческим суевериям. Осуждение пророческой фантастики. Однако: демон Сократа представлял собой слепо действующее побуждение воли, возникавшее в нём без какого-либо сознательного обсуждения; и является правдоподобным, что в душе,

столь возвышенной, как у него, и подготовленной непрерывным упражнением в мудрости и добродетели, эти порывы, хотя необдуманные и непереваренные, были всегда значительны и достойны того, чтобы им следовать. Каждый до некоторой степени чувствует в себе возбуждающую силу такого внезапного, резкого и неожиданного мнения; я склонен приписать ему известный авторитет, придавая весьма мало авторитета нашему благоразумию; среди этих наитий мне случалось иметь столь же слабые по логическому обоснованию, сколь мощные по способности убеждать или разубеждать, – как это обыкновенно бывало и у Сократа⁷; когда я позволял им увлечь себя, это приводило к таким удачным и полезным результатам, что в них нельзя не видеть чего-то вроде божественного вдохновения.

Итак: суеверие – это отказ от рассудка и потому заслуживает осуждения. Но одновременно оно является также преувеличением его прав, его претензий и потому также заслуживает осуждения. Переход рассудка в ложную фантастику и разумное содержание истинного наития. Мысль, претерпевшая дальнейшее развитие; но у Монтеня интересна своеобразная историческая форма, когда критика чрезмерных претензий рассудка непосредственно и наивно совпадает с критикой средневекового суеверия. Этого нет и не может быть у просветителей, и только диалектика в конце XVIII и начале XIX столетия путём сложного хода мысли возрождает эту «борьбу на два фронта».

ГЛАВА XII. О ТВЁРДОСТИ

Эта глава направлена фактически против стоицизма и написана не с точки зрения мудреца-героя, а с точки зрения человека обыкновенного. Однако мудро понятый стоицизм признаётся необходимым дополнением к материальному признанию нашей слабости:

Решительность и твёрдость вовсе не требуют того, чтобы мы не избегали, поскольку это для нас возможно, угрожающих нам зол и неприятностей; а следовательно, мы отнюдь не должны жить под постоянным страхом внезапного наступления бедствий. Наоборот, все честные средства, способные обезопасить нас от зол, не только дозволены, но и похвальны. И роль твёрдости состоит главным образом в том, чтобы стойко переносить неприятности, от которых нет избавления. Подобным же образом, нет такой телесной изворотливости и таких движений вооружённой руки, которые мы сочли бы дурными, раз они служат для того, чтобы защитить нас от удара, который нам наносят.

Этика Монтеня, направленная против фантастической этики средневекового рыцарства, содержит в себе уже заранее и критику буржуазного кантовского морального стоицизма. В главе XIV за более трудными поступками, требующими большой стойкости, признаётся определённое преимущество. Любопытно, что в примерах преобладают боевые случаи с огнестрельным оружием: пушками и мушкетами.

ГЛАВА XIII. ЦЕРЕМОНИЯ ВСТРЕЧИ КОРОЛЕЙ

Довольно старое правило:

Общим правилом для всех собраний является также то, что низшие должны являться первыми, в то время как людям более видным приличествует скорее заставить себя подождать.

Маргарита Наваррская полагала, что дворянину вежливее поджидать короля дома, чем идти к нему навстречу: можно разминуться.

Свободное соблюдение светских правил: Не только каждая страна, но даже каждый город (и каждая профессия) имеют свои особые правила учтивости. Я в детстве был достаточно старательно вышколен в этом и жил в достаточно хорошем обществе, чтобы быть невеждою в правилах нашей французской учтивости, и я мог бы даже обучать им. Я люблю им следовать, но не с такою робостью, чтобы тем самым стеснять свою жизнь: они имеют некоторые стеснительные формы, и если мы опускаем эти последние сознательно, а не по ошибке, от этого любезность наша ничуть не проигрывает. Я часто видал людей, невежливых вследствие чрезмерной вежливости и несносных своей учтивостью. За всем тем, наука о том, как вести себя, – это очень полезная наука. Она, подобно привлекательности и красоте, является первейшим связующим средством в обществе и содружестве, а следовательно, открыва-

ет нам возможность поучаться примерами других и самим подавать пример для использования, если только у нас есть что-либо поучительное и достойное подражания.

ГЛАВА XIV. О ТОМ, ЧТО ВКУС ДОБРА И ЗЛА ЗАВИСИТ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ОТ ТОГО МНЕНИЯ, КАКОЕ МЫ О НИХ ИМЕЕМ

Относительность добра и зла. Зло и страдание, нищета – всё это или прямо зависит от нашего мнения, а не от самого себя, или может быть изменено нами, нашим сознанием (что сводится к тому же). Доказательства: мы чувствуем различно, мудрецы и простой народ не боятся смерти.

Однако оставим в стороне этих прославленных мужеством людей. Феодор ответил Лизимаху, угрожавшему его убить: «Это будет знатный удар, ты сравнишься по силе со шпанской мухой». Большинство философов намеренно предварили или ускорили свою смерть.

А сколько мы видели людей из народа, которые, когда их вели на смерть, – и не просто на смерть, но на смерть, сопряжённую с позором, а иногда и с тяжкими муками, – обнаруживали, одни из упорства, другие в простоте своего сердца, такую твёрдость, что нельзя было заметить никакой перемены в их обычном поведении? Они устраивали свои домашние дела, давали поручения своим друзьям, пели, обращались к народу с поучениями и разговорами, вставляя даже иногда несколько слов для смеха, пили за здоровье своих близких, не хуже Сократа. Множество примеров великолепного простонародного презрения к смерти и отсутствия бояз-

ни перед ужасами религии. Способность выносить страдания зависит от обстоятельств. Мы способны преодолевать даже боль, если свободны от страха смерти. Если мы страдаем, то именно вследствие непривычки находить критерий добра и зла в себе самих. Надо изучить не только наше тело, но и нашу душу, используя нужные уловки. Тело то в большей, то в меньшей степени, но всегда стремится в одну и ту же сторону, имеет одну и ту же склонность; душе свойственно всевозможное разнообразие форм, и в каком бы состоянии она ни находилась, она приспособляет к себе чувствования нашего тела и все другие проявления нашей жизни; поэтому надо её изучить и исследовать, пробуждая скрытые в ней всемогущие силы. Нет такого аргумента, такого предписания или такой силы, какие могли бы противостоять её стремлению и её воле. Из стольких тысяч уловок, находящихся в её распоряжении, дадим ей ту, которая ведёт к нашему сохранению и спокойствию; и тогда мы не только будем укрыты от всякого рода обид, но даже, если она того пожелает, испытывая обиды и страдания, будем чувствовать себя награждёнными и польщёнными.

Она умеет использовать все различия: ошибки, сновидения служат ей, давая надёжные средства обеспечить нам покой и довольство. Легко заметить, что наши страдания и наши желания обостряются вследствие вмешательства разума. У животных, разум которых находится под спудом, телу предоставляется чувствовать свободно и непосредственно, и потому чувства каждого вида животных почти одинаковы, как это показывает сходство их

проявлений и производимых ими движений. Если бы мы не нарушали тех правомочий, какими в этом отношении снабжены наши члены, то, надо думать, это было бы для нас всего лучше, ибо природа, конечно, справедливо и в меру оделила их способностью и к наслаждению, и к страданию; да и не может быть несправедливо то, что всем обще и у всех одинаково. Но раз мы уже освобождены от этих правил и отданы на произвол наших необузданных фантазий, то постараемся по меньшей мере направить их в сторону, наиболее приятную.

Итак, первоначальная примитивная мера наслаждения и страдания дана природой. Только развитие нашего сознания производит раскол между «мнением» и реальностью. Жизнь, доставляя нам больше наслаждения, становится для нас ужаснее. Освободившись от природного равенства животных, мы впадаем в гибельную неодинаковость чувств. Нужно найти способ к сближению души и тела, направить нашу фантазию в наиболее выгодную для нас сторону.

Платон⁸ опасается нашей чрезмерной восприимчивости к страданию и наслаждению, тем более, что она слишком тесно связывает нашу душу с телом; я бы сказал, наоборот, что она слишком разъединяет душу и тело и отдаляет их друг от друга.

Подобно тому, как враг насаждает на нас смелее, когда мы обращаемся в бегство, точно так же и болезнь становится дерзновеннее, когда видит, что мы трепещем перед ней. Она ведёт себя гораздо скромнее с тем, кто не поддаётся ей; надо противиться ей и бороться с ней. Отступая перед нею и очищая

ей дорогу, мы сами призываем и навлекаем на себя грозящую нам гибель. Как тело укрепляется в борьбе, так и душа.

«Мнение – могучая сила, дерзновенная и безмерная».

Это положение Монтень подкрепляет десятками примеров, показывает относительность точек зрения. Примеры его доказывают большей частью возможность идти наперекор нашей слабости, вследствие героизма, тщеславия или какой-нибудь другой причины. Таким образом, здесь уже содержится истина просветителей «мнения правят миром», распадающаяся на два элемента: а) извращения первоначальной простоты, б) способность противостоять самому себе. Как привести наше мнение в гармонию с объектом? – вот вопрос, который занимает уже Монтень.

От просветителей Монтень отличает гораздо более глубокое понимание того, что существующая дисгармония связана с историческим развитием самосознания. Признавая разнообразие и относительность точек зрения, просветители, в соответствии со своим познавательным объективизмом, искали некоего естественного мнения, исходили из абстрактного противопоставления истины и заблуждения. Развитие сознания было для них благом, противостоящим совокупности всех ошибок и блужданий фантазии и чувства. Для Монтеня характерно более диалектическое, более историческое понимание трагедии субъекта и объекта. Хотя он и признаёт преимущество природного состояния, но этот естественный идеал не является у него абстрактной программой. Для Монтеня решение вопроса содержится в самом скептицизм-

ме, или, иначе, – его скептицизм совпадает с проповедью гармонии субъекта и объекта. Монтень не знает абстрактного «естественного мнения», понятия естественной ценности, естественной полезности вещей. Не полезность, а труд является критерием ценности, добра и зла. Не естественное, а человеческое, субъективное начало. Добро измеряется трудностью преодоления соответствующего зла. У Монтеня нет того распада на трудовую и «естественную» стоимость, который характерен так или иначе для XVIII века. Вот политическая экономия Монтеня:

«Что наше мнение даёт цену вещам, видно из того, что имеется большое количество таких вещей, в которых мы ценим не столько их, сколько нас самих; мы обращаем внимание не на их качество или пользу, а только на то, чего стоило нам добыть их, словно это составляет часть их собственного существа, и называем их ценностью не то, что они нам приносят, а то, что мы им приносим. Отсюда я делаю вывод, что мы очень экономно распоряжаемся нашими затратами; мы придаём им значение в зависимости от того, насколько они тяжелы, и именно потому, что они тяжелы. Наше мнение не допускает здесь бесполезных издержек. Уплаченные при покупке деньги определяют цену алмаза, трудности достижения – цену добродетели, скорбь – цену благочестия, болезнь – цену медицины».

Таким образом, субъективность оценки является у Монтеня объективно-исторической. Его идея состоит в том, что в нашем мире всё обменивается «так на так». Всё эквивалентно. За благо нужно заплатить трудом и страданием. В этом и состоит исторически-возмож-

ная гармония. Предполагая пропорцию оплаты величиной неизменной, Монтень приходит к выводу, что нужно меньше заботиться о количестве благ для того, чтобы уменьшить трудности и страдания. Он решительно против накопления. Богатство приводит к своей собственной противоположности. «На мой взгляд, все денежные люди скупы». «Не нужда, а скорее изобилие порождает скупость». Богатство не спасает от бедности. «Нужда в недрах богатства – худшее из зол», – говорит Сенека. Вместе с богатством растут необеспеченность и затруднения:

«Получая свыше двух тысяч экю дохода, я вижу нищету так близко, как будто бы она уже стояла передо мной: в самом деле, рок даёт возможность бедности пробить сотни брешей в нашем богатстве, не допуская часто ничего среднего между высшим счастьем и полным несчастьем».

Между тем это среднее состояние и является настоящим идеалом. Монтень проповедует соответствие расходов и приходов, но не с точки зрения экономии, а, наоборот, с точки зрения бессмысленности накопления: сколько получаешь, столько нужно и проживать.

«Теперь я сообразую мои издержки с получками; то одно преобладает, то другое, но в общем они почти в точности уравнивают друг друга. Я живу изо дня в день и доволен, что имею чем покрыть мои текущие и обычные нужды; что же касается нужд чрезвычайных, то всех имеющихся в мире запасов было бы недостаточно, чтобы удовлетворить их. Безрассудно было бы ожидать, что судьба сама даст нам оружие против себя; мы должны бороться

с ней нашим собственным оружием; оружие, случайно подвернувшееся под руку, может предать нас в самом разгаре битвы. Если я накопляю теперь, то только ввиду каких-либо трат, предстоящих в ближайшем будущем, не для того, чтобы покупать земли, которые мне ни на что не нужны, но для того, чтобы покупать предметы, доставляющие удовольствие. *Non esse cupidum, pecunia est; non esse emacem, vestigal est*⁹.

Я никогда почти не испытываю ни страха, что мне не хватит моего состояния, ни желания увеличить его: *divitiarum fructus est in coria; coriam declarat satietas*¹⁰; я особенно благословляю судьбу за то, что эта перемена к лучшему произошла во мне в таком возрасте, который естественно склонен к скупости, и что я, таким образом, вижу себя избавленным от этого безумия, общего всем старикам, самого смешного из всех человеческих безумий».

Точка зрения джентльмена. Презрительные отзывы о торгашестве, склонности торговаться.

Формула счастья:

«Счастлив тот, кто сумел установить для своих нужд ту надлежащую меру, при которой богатство даёт ему возможность удовлетворить свои потребности без всяких попечений и забот с его стороны; так что распределение или накопление денег не нарушает других его занятий, которые для него более подходящи, более спокойны и более ему по душе».

Итак, достижение меры – вот цель. Но равенство страдания и наслаждения может существовать на разной ос-

нове. Это зависит от пропорции, а пропорция может измениться. Монтень чувствует это, ибо суть его аргументации сводится именно к признанию относительной трудности всего. Но Монтень консервативен. Глубокое прозрение в субъективную сущность общественных отношений не влечёт его к идее прогрессивного развития человеческих производительных сил, а только к идее жизнерадостного самоограничения в духе его эпохи. С одной стороны, не нужно стремиться к накоплению богатств, с другой стороны, следует приучать себя к труду, лишениям и страданию. Этим последним путём Монтень хочет изменить пропорциональное отношение между добром и злом, благом и лишением. Отсюда все его рассуждения о зле, проистекающем от излишней чувствительности. Таким образом, понятие «труд» приобретает чисто субъективный страдательный характер. Историческое понимание субъективности растворяется у Монтеня в смысле: «Итак, довольно...»

L'aisance donc et l'indigence despendent de l'opinion d'un chacun, et non plus la richesse, que la gloire, que la santé, n'ont qu'autant de beauté et de plaisir, que leur en preste celui qui les possede. Chacun est bien ou mal, selon qu'il s'en trouve. Non de qui on le croid, mais qui le croid de soy, est content: et en cella seul la creance se donne essence et verité.

La fortune ne nous fait ny bien ny mal: elle nous en offre seulement la matiere et la semence: laquelle nostre ame, plus puissante qu'elle, tourne et applique comme il luy plaist: seule cause et maistresse de sa condition heureuse ou malheureuse.

Les accessions externes prennent saveur et couleur de l'interne constitution: comme les accoustremens

nous eschauffent non de leur chaleur, mais de la nostre, laquelle ils sont propres à couvrir et nourrir: qui en abrieroit un corps froid, il en tireroit mesme service pour la froideur: ainsi se conserve la neige et la glace.

Certes tout en la maniere qu'à un faineant l'estude sert de tourment, à un yvrongne l'abstinence du vin, la frugalité est supplice au luxurieux, et l'exercice geine à un homme delicat et oisif: ainsi est-il du reste. Les choses ne sont pas si douloureuses, ny difficiles d'elles mesmes: mais nostre foiblesse et lascheté les fait telles. Pour juger des choses grandes et haultes, il faut un'ame de mesme, autrement nous leur attribuons le vice, qui est le nostre. Un aviron droit semble courbe en l'eau. Il n'importe pas seulement qu'on voye la chose, mais comment on la voye.

Or sus, pourquoy de tant de discours, qui persuadent diversement les hommes de mespriser la mort, et de porter la douleur, n'en trouvons nous quelcun qui face pour nous? Et de tant d'especes d'imaginacions qui l'ont persuadé à autrui, que chacun n'en applique il à soy une le plus selon son humeur? S'il ne peut digerer la drogue forte et abstersive, pour desraciner le mal, au moins qu'il la preigne lenitive pour le soulager. «Certaine opinion effeminée et frivole gouverne le plaisir non moins que la douleur. C'est alors que, liquefies et coulant de mollesse, nous ne pouvons supporter un dard d'abeille sans jeter des cris. Le tout est ici de savoir se commander». (Ciceron, Tusculanes, II, XXII)

Au demeurant on n'eschappe pas à la philosophie, pour faire valoir outre mesure l'aspreté des douleurs, et humaine foiblesse. Car on la contraint de se rejeter à ces invincibles repliques: S'il est mauvais de vivre

en nécessité, au moins de vivre en nécessité, il n'est aucune nécessité.

Но помогают ли все эти истины человеку и в чём его последнее утешение?

Nul n'est mal longtemps qu'à sa faute.

Qui n'a le cœur de souffrir ni la mort ni la vie, qui ne veut ni résister ni fuir, que lui feroit-on?¹¹

ГЛАВА XV. БЕЗРАССУДНОЕ УПОРСТВО В ОТСТАИВАНИИ ЗАНЯТОЙ ПОЗИЦИИ НАКАЗЫВАЕТСЯ

Храбрость за пределами определённых границ переходит в дерзость и безрассудство. Но судьи кто? Варварство государей. Нужно остерегаться попасть в руки судьи, каким является вооружённый неприятель.

ГЛАВА XVI. О НАКАЗАНИИ ЗА ТРУСОСТЬ

Трусость подлежит наказанию, когда она превосходит известную меру.

Обычная дисциплина здорового государства и упорядоченного общества не рассчитана на такие необузданные проявления.

Поэтому необходимы известные меры пресечения.

ГЛАВА XVII. ПРИЁМЫ НЕКОТОРЫХ ПОСЛАННИКОВ

Каждый должен говорить о том, что он знает о своей профессии, хотя люди обычно поступают наоборот. Некоторые посланники сообщают своим государям только то, что считают нужным. Стремление к свободе и к власти всем нам свойственно, поэтому бесхитрое подчинение необходимо.

Мы так охотно уклоняемся, под каким-либо предлогом, от подчинения и стараемся хоть частично узурпировать командование. Каждый столь естественно стремится по природе своей к свободе и власти, что для высшего никакие полезные качества тех, которые ему служат, не должны быть так ценны, как ценно простое и бесхитрое повиновение. Мы плохо выполняем долг перед начальником, если повиноваться ему заставляет нас благоразумие, а не покорность.

Однако чрезмерно буквальное подчинение также плохо. Оно уместно лишь в тех случаях, когда приказание ясно и точно.

ГЛАВА XVIII. О СТРАХЕ

Страх – изумительная страсть. Люди, объятые страхом, иногда обнаруживают мужество. Живущие под гнётом страха потерять имущество находятся в постоянной тревоге, а между тем «бедняки, изгнанники и рабы испытывают часто больше радостей в жизни, чем прочие».

ГЛАВА XIX. О ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ СУДИТЬ О НАШЕМ СЧАСТЬЕ ДО НАШЕЙ СМЕРТИ

Последний самый трудный акт комедии жизни есть проверка нашей твёрдости. «В этой последней сцене между смертью и нами уже нет места притворству». И надо, чтобы эта сцена прошла хорошо, т.е. спокойно и тихо.

ГЛАВА XX. О ТОМ, ЧТО БЫТЬ ФИЛОСОФОМ ЗНАЧИТ УМЕТЬ УМИРАТЬ

Основа этики Монтеня:

В самом деле, или наш разум издевается над нами, или же он не должен стремиться ни к чему другому, кроме нашего довольства, и вся его работа должна быть направлена в конечном итоге к тому, чтобы дать нам возможность хорошо жить, на радость нам, как это говорит и священное писание¹². Все мнения в этом мире сходятся в том, что удовольствие есть наша цель, хотя к этому и приходят различными путями. Разногласия философов в этих вопросах чисто словесны:

Что бы ни говорили люди, согласно требованию самой добродетели последней целью наших стремлений является наслаждение. Мне нравится раздражать их уши этим словом, которое звучит для них слишком крепко и им не по сердцу: если оно означает некоторое высшее удовольствие и чрезвычайное довольство, оно находит себе опору в добродетели более, чем в чём-либо другом. И если наслаждение является свободным, энергичным, сильным, мужественным, то от этого оно ничуть не утрачивает своего характера наслаждения; и мы должны именовать его удовольствием, – более подходящим, гибким и естественным словом, чем слово «доблесть», которое мы в таких случаях любим

употреблять. Наслаждение иного, более низменного характера, если оно вообще заслуживает этого прекрасного имени, должно бы, по крайней мере, носить его не в силу привилегии, а в результате соперничества. Это наслаждение «имеет свои бессонные ночи, свои посты и свои труды, и пот и кровь». Прельщение граничит с наказанием. И нельзя сказать, что эта горькая приправа увеличивает сладость удовольствия, так же, как нельзя сказать, что трудности делают добродетель недоступной и суровой. Нас поучают, что завоёвывать добродетель – тяжело и трудно, а пользоваться ею – приятно; но не говорят ли они тем самым, что она всегда неприятна? Ибо разве есть такое средство, при помощи которого человек мог бы достигнуть пользования добродетелью? Наиболее совершенные должны довольствоваться надеждой приблизиться к ней, не обладая ею. Но говорящие так ошибаются; на самом деле, все удовольствия, которые нам известны, обладают тем свойством, что самое преследование их приятно; приступая к нему, мы уже предвкушаем тот объект, к которому стремимся; поэтому само стремление заключает в себе значительную долю искомого эффекта и едино с ним по сущности своей. Счастье и блаженство, которыми светится добродетель, наполняют собой и всё то, что к ней относится, начиная от первого подступа и кончая последней её границей. Стремление и результат переходят друг в друга.

Презрение к смерти – главный удар добродетели; оно придаёт ласкающий вкус нашей жизни. Всякий день жизни нужно рассматривать как подарок. Но всё это вовсе не значит, что смерть и самый вид

смерти должны стать для нас безразличны: Не всё ли равно, скажете вы мне, как это достигается, только бы не испытывать муки. Я того же мнения; и каким бы способом ни удалось укрыться от ударов, хотя бы для этого надо было залезть в телячью шкуру, я не отступил бы перед этим; ибо если я достигну удовлетворения, с меня этого довольно; и если я в состоянии так или иначе сорвать наибольший выигрыш, я его возьму, хотя бы ведущий к нему путь отнюдь не был славным и примерным. Однако это недостижимо. Будем же привыкать к смерти, а не закрывать на неё глаза, как делает простонародье. «Кто научился умирать, тот разучился быть рабом». Для него нет в жизни зла. Однако: во всех наших делах замечается, что раз природа не даёт достаточно, то при помощи искусства и усилий с трудом удаётся пойти сколько-нибудь дальше.

В чём же выход? Не следует питать никаких замыслов на столь долгие сроки или, по крайней мере, проникаться столь страстным желанием видеть их завершение. Мы рождены для деятельности: *cum moriar, medium solvar et inter opus*¹³, и я желал бы, чтобы мы действовали, чтобы мы, насколько можем, продлили выполнение наших жизненных обязанностей; пусть смерть застигнет меня за посадкой моей капусты, но я не должен тревожиться о её судьбе и, ещё менее, о судьбе моего не до конца обработанного огорода.

Это важно и глубоко. Понятие деятельности без назойливой заботы о её результатах. Та же мысль о единстве стремления и результата, но с другой стороны. Ср. позднее Вольтер: «Будем возделывать наш сад».

Итак, нужно приучать себя к мысли о смерти: Если бы я был сочинителем книг, я составил бы снабжённое пояснениями описание различных смертей. Кто учит людей умирать, учит их жить. Истинная и самодержавная свобода – в постепенном возвышении до презрения к смерти. К тому же краткость и продолжительность жизни – понятия относительные. Речь природы: смерть – частица порядка мира, эта прекрасная ткань вещей не должна быть изменена для человека. «Непрерывная работа вашей жизни есть построение смерти, вы находитесь в смерти в то время, как вы находитесь в жизни». «Смерть – это условие вашего творения. Это часть вас; вы убеждаете от самих себя». Жизнь сама по себе – ни благо, ни зло. Кто прожил один день – видел всё:

«На худой конец, все акты моей комедии в их последовательности и разнообразии можно обозреть в течение одного года. Если вы ознакомились со сменой моих четырёх времён года, вы видели детство, юность, зрелость и старость мира: он сыграл до конца свою роль, и ему не остаётся ничего другого, как начать всё сызнова»; это ремоний¹⁴. И это ближе к истинно философской и более счастливой кончине: «Необходимо снять маску с вещей, равно как и с лиц; удалите её, и вы найдёте под ней ту самую простую смерть, какую ваш лакей или работник только что перенёс без страха. Счастлив тот, кому смерть не оставляет свободного времени для приготовления такого парада».

В чем же выход?: V [стр. 125]. Это важно и нужно.
Понятие бесстрашия без какой-либо связи с ее регуляторами.
Та же мысль о ^{жизни}страхе и регуляторе, но с другим углом.
Ср. монтень Вильер: Будем — возмущать наш сад.

Тогда, думая о смерти, мы и имеем смерть: V [стр. 98]
Мирная и самодержавная свобода в постепенном возвышении
до презрения к смерти. К тому же краткость и продолжительность
жизни понятия относительные. Речь природы: смерть — частица
мира, эта прекрасная ткань вещей не должна быть изменена для
человека. «Непрерывная работа вашей жизни есть построение
смерти. Вы находитесь в смерти в то время, как вы находитесь в
жизни». «Смерть — это условие вашего творения. Это часть вас;
вы убеждаете от самих себя». Жизнь сама по себе — ни благо, ни зло.
Кто прожил один день — видел все: V [стр. 133].

«Вспомните лишь для других, как другие оценят все для вас.
«Равенство есть главнейшая часть справедливости».
Ничего нет, живи — смерть вот, когда мы умрем все уже знаем и ждём.
Жизнь или нежить — вопрос справедливости. На вопрос справедливости он не
умирает. Дали ответ: потому что это справедливо. ^{жизни}Счастье жизни
Дала бы ^{жизни}жизни. V [стр. 137]

«Модель дерева и книга сочинений» (смерть ^{жизни}жизни) все
уверенно тем же ^{жизни}жизни. Монтень ^{жизни}жизни. И это ^{жизни}жизни
справедливо. V [стр. 138].

Глава XXI О силе воображения

Сила воображения повышается как как он ^{жизни}жизни, ^{жизни}жизни,
ошибки других, страдания их ^{жизни}жизни, ^{жизни}жизни. ^{жизни}жизни.
Вам Вибри до того ^{жизни}жизни, что ^{жизни}жизни от ^{жизни}жизни.
Смерть от воображения. ^{жизни}жизни. ^{жизни}жизни (жизни
жизни). ^{жизни}жизни ^{жизни}жизни ^{жизни}жизни — ^{жизни}жизни
на ^{жизни}жизни ^{жизни}жизни: ^{жизни}жизни ^{жизни}жизни и ^{жизни}жизни.
^{жизни}жизни ^{жизни}жизни ^{жизни}жизни. ^{жизни}жизни ^{жизни}жизни ^{жизни}жизни.
дот ^{жизни}жизни и ^{жизни}жизни. ^{жизни}жизни ^{жизни}жизни и ^{жизни}жизни. ^{жизни}жизни
жизни ^{жизни}жизни. ^{жизни}жизни ^{жизни}жизни и ^{жизни}жизни. ^{жизни}жизни
жизни ^{жизни}жизни: V [стр. 153-154.] V [стр. 155]

ГЛАВА XXI. О СИЛЕ ВООБРАЖЕНИЯ

Сила воображения позволяет нам как бы перевоплощаться, сочувствовать другим, страдать их страданиями, наделять их своим здоровьем и т.д. Галл Вибий до того изучил безумие, что «стал безумным от мудрости». Смерть от воображения. Поллюции. Метаморфозы (весьма несбыточные). Души простонародья более податливы – одна из основ старинной психологии; отсюда вера в чудеса и чары. Бессилие вследствие воображения. Чрезмерное напряжение переходит в слабость и наоборот. Забавные примеры и советы. Непроизвольность движений. Роль внушения и самовнушения, попутно Монтень высказывается о своём методе: те рассказы, которые я заимствую, я оставляю на совести тех, у которых их взял.

Рассуждения принадлежат мне и опираются на доказательства разума, а не на опыт; каждый может соединить с ними свои примеры; а у кого их нет, тот может поверить, что их имеется достаточно, ввиду обилия и разнообразия происшествий в мире. Если я не всё, что нужно, показываю на примере, пусть это сделает другой за меня.

К тому же при изучении наших нравов и поступков, которыми я занимаюсь, свидетельства ложные, если только они не переходят за границы возможного, служат делу так же хорошо, как и истинные: было или не было, в Риме или в Париже, с Иваном

или с Петром, но, во всяком случае, перед нами то или другое свойство человеческой природы, которое я с пользою применю в этом изложении. Я его вижу, я его использую, – всё равно, находится ли оно в области теней или в телесном мире; из различных уроков, которые часто можно извлечь из рассказов, я беру для своих целей тот, который наиболее редок и поучителен. Есть авторы, задача которых – рассказать, что происходит; моя задача, если бы я был в силах её достигнуть, состояла бы в том, чтобы сказать, что может произойти. Схоластикам справедливо разрешается предполагать сходство, если они его не находят. Но я так не поступаю, и в этом отношении я превосхожу своей суеверной щепетильностью всякое историческое правдоподобие. В примерах, которые я заимствую здесь из того, что читал, слышал, делал или говорил, я не позволяю себе менять что бы то ни было, вплоть до самых маленьких и незначительных обстоятельств: сознательно не искажаю я ни йоты, а что я делаю бессознательно, того не ведаю. Я считаю менее рискованным описывать вещи прошедшие, чем настоящие; тем более, что писатель здесь должен дать отчёт только в той истине, которая им заимствована.

По многим причинам Монтень отказывается от того, чтобы писать современную историю.

Между прочим, и потому, что «свобода моя до такой степени чужда всяких стеснений, что я мог бы обнародовать, даже по собственному выбору и разумению, суждения неправомерные и наказуемые».

ГЛАВА XXII. ВЫГОДЫ ОДНОГО ЕСТЬ УБЫТОК ДРУГОГО

Глава заимствована почти целиком из Сенеки (Кост¹⁵), но чрезвычайно любопытна, как предварение Мандевилля и Канта. Идея положительной роли отрицательного начала взята у Монтеня ещё под углом зрения равенства эквивалентов, спокойного равновесия природы. Понятие абсолютного роста богатства отсутствует:

Демад¹⁶, афинянин, осуждал одного из своих сограждан, который занимался продажей вещей, необходимых для погребения, за то, что он требовал слишком много прибыли, и за то, что прибыль эта не могла ему достаться иначе, как ценою смерти большого количества людей. Суждение это, по-видимому, плохо обдумано: ведь никто не может получить прибыль иначе, как от убытка, понесённого другими людьми, и с этой точки зрения следовало бы осудить всякого рода доходы. Купец успешно ведёт свои дела только при мотовстве молодёжи; земледелец – при дороговизне хлеба; архитектор – при разрушении домов; чиновники судебного ведомства – при тяжбах и распрях между людьми; даже служители религии своим почётом и своей деятельностью обязаны нашей смерти и нашим порокам. Никакой врач, говорит греческий комик, не радуется здоровью даже своих ближайших друзей; не радуется и солдата мир его города; точно так же и

все прочие. И, что ещё хуже, каждый, кто покопается в себе, найдёт, что наши внутренние желания по большей части зарождаются и питаются за счёт других. Когда я размышлял об этом, мне пришло в голову, что природа здесь не отступает от своей общей политики; ибо физики полагают, что рождение, питание и рост каждого существа совершается за счёт повреждения и разрушения другого:

Nam quodcunque suis mutatum finibus exit,
Continue hoc mors est illius, quod fuit ante¹⁷.

ГЛАВА XXIII. О ПРИВЫЧКЕ И О ТОМ, ЧТО НЕ ЛЕГКО МЕНЯТЬ ПРИНЯТЫЙ ЗАКОН

Сила привычки. Разнообразие и относительность привычек. Различие способа восприятия. «Наши кузнецы, мельники, оружейники не могли бы жить среди того шума, который их окружает, если бы они воспринимали его так же, как мы».

Роль воспитания: Я нахожу, что самые большие наши пороки упрочиваются в нас в самом нежном детском возрасте и что главными нашими воспитательницами являются кормилицы. Есть матери, которым забавно видеть, как ребёнок свёртывает шею цыплёнку и, резвясь, ранит собаку или кошку; бывают и отцы, имеющие глупость усматривать доброе предзнаменование воинственного духа в том, что их сын без всякого основания колотит крестьянина или лакея, которые не смеют защищаться, или остроумие в том, что сын одурачивает своего товарища, пуская в ход злостное вероломство. Между тем это настоящие семена и корни жестокости, тиранства, предательства; здесь они зарождаются, а потом буйно разрастаются и укрепляются благодаря привычке. Надо приучать детей видеть в пороке «извращение природы», а не прощать им количественно незначительные проступки. Против лукавства и нечестности. Внутренний глаз.

Привычка наделяет нас самыми диковинными верованиями и смешными обычаями. Монтень пользуется примерами совершенно в духе XVIII века. Вследствие привычки мы не замечаем странности некоторых наших собственных обычаев:

Чудеса существуют в силу того неведения природы, в котором мы обретаемся, а не в силу существа самой природы; привычка усыпляет зоркость нашего суждения. Варвары ничуть не более странны для нас, чем мы для них, и мы имеем ничуть не больше поводов смотреть на них с изумлением, чем они на нас; это каждый признал бы, если бы каждый умел, рассмотрев эти далёкие примеры, обратиться к своим собственным и разобрать их вполне здраво. Перечисление разнообразнейших обычаев, среди которых, между прочим, есть и «общая собственность», и убеждение, «столь необычное для нас и безутешное, в том, что душа смертна». Обычай внушил самому грубому простолюдину то, что философия тщетно старается насадить в головах мудрецов, – презрение к смерти. Относительность нравственных норм: законы совести, о которых мы говорим, что они порождены природой, на самом деле порождены обычаем; каждый, почитая внутренне мнения и нравы, одобренные и принятые вокруг него, не может ни уклоняться от них без угрызений совести, ни соблюдать их без чувства удовлетворения. То, что мы находим вокруг себя, мы считаем естественным. Идеи только кажутся нам врождёнными:

Главное проявление могущества обычая – это захватывать и покорять нас себе в такой степени, что

мы почти не в состоянии оправиться от его натиска и прийти в себя, чтобы обсудить и обдумать его повеления. В самом деле, так как мы впитываем их в себя с молоком матери и так как облик мира именно в этом виде представляется нашему первому взгляду, то получается впечатление, что мы родились с склонностью следовать по указанному пути. А так как известные продукты воображения, как мы видим, находятся у всех вокруг нас в большом почёте и проникают в нашу душу по наследству от наших отцов, то они кажутся всеобщими и естественными. Отсюда и проистекает, что всякие отклонения от обычая люди считают отклонениями от разума. Богу известно, насколько это в большинстве случаев неразумно.

Привычный общественный строй кажется естественным:

Народы, воспитанные в свободе и привыкшие сами управлять собой, считают всякую другую форму правления чудовищной и противной природе. Те, которые привыкли к монархии, чувствуют к ней не меньшую привязанность. И какой бы удобный случай для смены правления ни послала им судьба, даже когда им удаётся с величайшим трудом избавиться от тягостной власти, они спешат с таким же трудом снова насадить её, так как у них не хватает решимости возненавидеть порабощение, укреплённое обычаем.

Однако что истинно и что ложно?

«Первые и всеобщие основания с трудом поддаются исследованию», наши учителя обычно скользят по верхам и остаются в области обычая; тот, кто хочет черпать только из самого первоисточника, высказывает иногда дикие мнения.

Весьма энергично восстаёт Монтень против бюрократии развивающегося централизованного государства:

Тот, кто захочет освободиться от жестокого предубеждения привычек, найдёт, что многие вещи, принимаемые с полной решительностью за несомненные, не имеют себе иной опоры, кроме седины и морщин сопровождающего их древнего обычая; но, сорвав эту маску, отнеся все вещи к истине и разуму, он почувствует, что все его суждения как бы перевернуты и всё же приведены в более надёжное состояние. Я спросил бы у него, например, можно ли вообразить себе что-либо более странное, чем народ, обязанный повиноваться законам, которых он никогда не был в силах понять, – народ, связанный во всех своих домашних делах, в браках, дарениях, завещаниях, продажах и покупках предписаниями, которых он не может знать, так как они не написаны и не опубликованы на его языке, и потому вынужден покупать за деньги их толкование и применение. Изократ советовал своему монарху развязать, освободить и сделать прибыльными торговые и коммерческие дела своих подданных, но отягчить, обременив большими налогами, их споры и ссоры; здесь же следуют не этому остроумному совету, а тому чудовищному взгляду, что самый разум есть предмет торговли, а законы – ры-

ночные товары. Я благодарю судьбу за то, что как раз гасконский дворянин, уроженец моей родины, первый, как говорят наши историки, воспротивился Карлу Великому, когда тот захотел дать нам латинские и имперские законы.

Можно ли представить себе что-либо более дикое, чем такой порядок вещей, когда, согласно освящённому законом обычаю, отправление правосудия продаётся и судебные приговоры оплачиваются звонкой монетой, когда на законном основании можно отказать в судебной защите тому, кому нечем за неё заплатить? И торговля эта находится в таком почёте, что создаётся в государстве новое четвёртое сословие людей, ведающих судебными делами, в добавление к трём старым: церкви, дворянству и народу; каковое сословие, уполномоченное применять законы и имеющее в своих руках неограниченную власть над имуществом и жизнью граждан, составляет особую корпорацию наряду с дворянством. Отсюда и происходит, что существуют двоякого рода законы – законы чести и законы юридические, во многих отношениях прямо противоположные; первые осуждают человека, покорно перенёсшего обвинение во лжи, с той же строгостью, как вторые – человека, отомстившего за такое обвинение; по праву оружия лишается чести и благородства тот, кто сносит обиду, а по закону гражданского тот, кто мстит за обиду, подлежит уголовному наказанию; кто прибегает к закону, чтобы найти защиту от оскорбления, нанесённого его чести, тот бесчестит себя, а кто обходится без этого, тот карается и наказывается законом. И из двух столь различных частей общества, подчинённых,

однако, единому главе, одна блюдёт мир, другая ведает войной – по должности: одной принадлежит слово, другой – действие; одной – справедливость, другой – мужество; одной – разум, другой – сила; одной – длинное платье, другой – короткое – по любовному разделу.

Некоторые любопытные моменты: 1) отстаивание прав торговли и критика, по-видимому, римского права; 2) противоречие законов чести и законов юридических, дворянства и чиновничества.

Критика дурного древнего обычая переплетается здесь незаметно с критикой новизны. Отсюда переход к консерватизму Монтеня:

Впрочем, эти соображения не должны отвратить разумного человека от следования общей моде; мне кажется, наоборот, что всякий особый и исключительный покрой платья свидетельствует скорее о вздорной причудливости и чрезмерной привязанности, нежели о подлинной разумности; мудрый должен внутренне сбросить со своей души всякий гнёт и охранять её свободу и её способность независимо судить о вещах; что же касается внешности, то следует целиком выполнять принятые манеры и формы.

Обществу нет дела до наших мыслей; но остальное, как-то: наши поступки, наш труд, наше состояние и нашу жизнь следует предлагать и отдавать на пользу общества и на суд общественного мнения; так добродетельный и великий Сократ отказался спасти свою жизнь посредством неповиновения властям, даже властям несправедливым и криводушным, ибо правило всех правил и закон всех за-

конов состоит в том, что каждый должен соблюдать законы той страны, где он находится.

Некоторые любопытные моменты: 1) разумность следования общей моде; 2) обществу нет дела до наших мыслей, остальное принадлежит обществу, даже если оно несправедливо.

Как бы ни был плох закон, перевороты ещё опаснее:

А вот из другой области. Весьма сомнительно, может ли та выгода, которая проистечёт от изменения действующего закона, каков бы он ни был, быть столь очевидной, чтобы перевесить тот вред, который причиняется колебанием закона, тем более, что государственное управление подобно зданию, сложенному из различных частей, настолько тесно скреплённых между собой, что невозможно потрясти одну из них без того, чтобы это не отразилось на всей постройке в целом. Законодатель тирренцев¹⁸ постановил, чтобы каждый, кто пожелает либо уничтожить один из старых законов, либо заменить его новым, предстал перед народом с верёвкой на шее, дабы в том случае, если его новшество не будет одобрено всеми, он был немедленно удушен.

Против новшеств: Я питаю отвращение к новшествам, какой бы вид они ни имели; и у меня есть основание к этому, ибо я видел их весьма вредные последствия. Невзгоды, угнетающие нас во Франции вот уже столько лет, не являются целиком новшествами; но, к несчастью, можно утверждать с полной уверенностью, что именно новшества их в конечном счёте произвели и породили, даже зло и

разрушение, совершившиеся впоследствии помимо них и против них; всё это приходится поэтому поставить на их счёт.

Neu! patior telis vulnera facta meis!¹⁹

Те, которые потрясают существующий строй, легко становятся первыми жертвами его крушения. Плод смуты не достанется тому, кто её вызвал: он бил по воде и мутил её для других рыболовов. Связь и строение этой монархии, и это её величественное здание, будучи нарушены и потрясены новшествами, особенно в старые годы, давали сколько угодно случаев и поводов для возникновения подобного рода несправедливостей. Королевское величество труднее низвести с вершины до посредственности, нежели низвергнуть далее на самое дно.

Но хотя зачинщики переворота более вредны, их подражатели более преступны, так как следуют примерам, ужас и зло которых они испытали; и если даже злодеяниями можно стяжать себе различные степени почёта, то надо признать, что преимущество первых перед вторыми являются слава изобретательства и мужество первого почина. Все виды распутных новшеств удачно черпают в этом первоначальном и обильном источнике образцы для подражания, стремясь замутить наш правительственный строй и даже в самих наших законах, созданных в первую голову для избавления от этого зла, мы читаем объяснение и оправдание всякого рода дурных начинаний; с нами происходит то же, что рассказывает Фукидид²⁰ об эпохе гражданских войн в своём отечестве, а именно: в угоду общественным порокам и чтобы они казались более извинительными, их окрестили новыми, более мягкими слова-

ми, ослабляя и смягчая истинный смысл, – и всё это под предлогом благотворного воздействия на нашу совесть и наши убеждения: *honesta ratio est*²¹. Но и самый лучший повод для новшества очень опасен: *adeo nihil motum ex antiquo probabile est*²²! Говоря откровенно, мне представляется огромным эгоизмом и самомнением так высоко оценивать свои убеждения, чтобы ради их торжества стремиться к ниспровержению общественного мира, связанному со столькими неизбежными бедствиями, с такой ужасающей порчей нравов, всегда вызываемой гражданскими войнами, с такими тяжёлыми переменами в существующем положении вещей, и стремиться произвести всё это в своей собственной стране. Не является ли плохим расчётом давать свободный ход стольким известным и несомненным порокам, чтобы бороться с недостатками сомнительными и ещё подлежащими оспариванию? И разве имеется худший вид пороков, нежели те, которые оскорбляют нашу совесть и вместе с тем наш здравый смысл?

Речь идёт, в сущности, о дворянской и религиозной смуте.

«Сами боги позаботятся о том, чтобы святилища их не осквернились» – Тит Ливий, X, 6.

Христианская религия имеет все признаки высшей справедливости и пользы, но ни один из них не является столь очевидным, как прямой совет повиноваться властям и защищать государственный строй. Сама божественная мудрость подчинилась несправедливым земным законам.

Спор между защитниками старого и нового. Решение этого спора:

Великое дело – разрешить спор между тем, кто следует обычаям и законам своей страны, и тем, кто берётся их направлять и изменять. Первый ссылается в своё оправдание на простосердечие, покорность и пример окружающих; что бы он ни сделал, это не может быть злодейством, в худшем случае это будет несчастьем: *Quis est enim quem non moveat clarissimus monumentis testate consignataque antiquitas?*²³

Сверх того, как говорит Изократ, человек, испытывающий нужду, ближе к умеренности, нежели человек, имеющий избытки²⁴. Второй находится в более трудном положении; ибо он берётся делать выбор и изменять, присваивает себе власть судить и должен быть в силах видеть недостатки того, что он преследует, и благо того, что он хочет ввести.

Это столь простое рассуждение заставило меня замкнуться в своём углу и даже во время моей юности, более дерзостной, удержало в узде; я не взвалил на свои плечи столь непосильной ноши и не принял на себя ответственности за знание столь исключительной важности; я не взял на себя в этом деле той смелости, какую, здраво рассуждая, я не должен был бы проявлять даже в тех гораздо более лёгких вопросах, которым меня обучали, и где смелость суждения не заключает в себе ничего предосудительного. В самом деле, мне представляется крайне несправедливым желание подчинить общественные и твёрдо установленные учреждения и обычаи непостоянству частной фантазии (ибо частный разум может иметь лишь частную справедливость) и такое посягательство на божественные законы, какого никакая власть не потерпела бы по отношению к

законам гражданским; хотя эти последние и более по плечу человеческому разуму, всё же они являются полновластными судьями своих судей, и высшее удовлетворение состоит в том, чтобы их истолковывать и расширять область их применения, а не в том, чтобы их переворачивать и обновлять.

Если само провидение иногда обходило законы, то это чудо, перст божий, действию которого мы должны изумляться, а не подражать ему.

Перевороты, при отсутствии людей, действительно способных постигнуть лучшее, губительны: В нашей теперешней распри дело идёт о том, чтобы устранить и заменить сотню статей и притом глубоких и важных; но одному богу известно, сколько имеется таких лиц, которые могли бы похвалиться точным знанием соображений и оснований, говорящих в пользу той и другой из враждующих сторон; во всяком случае, число таковых, если только их действительно имеется некоторое количество, не столь велико, чтобы им было по силам совершить в нас переворот. Куда же ведёт весь этот натиск, который мы видим? Под каким знаменем устремляется он? С ним происходит то же, что и с другими слабыми и плохо применяемыми лекарствами: те соки, от которых оно должно было очистить нас, оно только раздражает, разжигает и усиливает столкновением; и так они остаются в нас; лекарство не было в состоянии излечить нас вследствие своей слабости, и, однако, оно нас ослабило; мы уже не можем более от него избавиться и получаем от его действия только продолжительные боли в наших внутренностях.

Однако и подчинение имеет свои границы:

Бывает, однако, так, что судьба, неизменно сохраняя свою власть, стоящую превыше всех наших рассуждений, посылает нам какую-либо нужду, столь настоящую, что законы должны уделить ей некоторое место; и если, сопротивляясь натиску такого новшества, стремящегося внедриться насильственно, держать себя всегда и во всём в узде и строго соблюдать законы даже по отношению к тем, которые не признают никаких ограничений, которые считают, что им позволено всё, ведущее к успеху их дела, которым ни закон, ни нравы не мешают искать только своих выгод, – то такое поведение будет опасным и неправильным.

*Aditum nocendi perfido praestat fides*²⁵.

Обычная дисциплина здорового государства и упорядоченного общества не рассчитана на такие необузданные проявления. Поэтому необходимы известные меры пресечения:

Как известно, двух великих людей, Октавия и Катона, упрекали в том, что во время гражданских войн, одного с Суллой, другого с Цезарем, они скорее готовы были подвергнуть своё отечество самым крайним опасностям, нежели прийти к нему на помощь, допустив нарушение законов, и ни за что не соглашались хоть сколько-нибудь поколебать эти последние. В самом деле, в той крайности, когда уже нельзя более устоять на ногах, было бы благоразумнее наклонить голову и несколько подготовиться к удару, нежели держаться сверх сил,

нисколько не уступая, и дать возможность насильнику попать всё ногами; и лучше заставить законы желать того, что они могут сделать, раз они не могут сделать то, чего желают. Так поступил тот, кто повелел законам заснуть на двадцать четыре часа²⁶, и тот, кто выкинул один день из календаря, и тот, кто июнь месяц превратил во второй май²⁷. Даже лакедемоняне, столь ревностно соблюдающие постановления своей страны, будучи стеснены законом, запрещающим два раза подряд выбирать адмиралом одно и то же лицо, в то время как обстоятельства со всей настоятельностью требовали, чтобы Лизандр снова принял на себя этот пост, сделали адмиралом Арака, а Лизандра – главным начальником флота. К подобной же уловке прибёг один из их послов, отправленный в Афины, чтобы добиться изменения одного закона; когда Перикл сослался на то, что запрещено удалять таблицу, раз на ней начертан закон, он посоветовал ему не удалять, а только перевернуть таблицу, что не запрещено. Плутарх хвалит Филопемена за то, что, рождённый повелевать, он умел повелевать не только согласно с законами, когда общественная необходимость того требовала.

Из примеров, приводимых Монтенем в начале этого отрывка, совершенно очевидно, что он имеет в виду именно нарушение общественного порядка со стороны частных сил, домогающихся господства, и даже прямо со стороны претендентов на диктатуру. Тайна консерватизма Монтеня – в его ненависти к борьбе клик. Отсюда осуждение мятежа и оправдание чрезвычайных мер со стороны власти предрежащей.

Общий итог таков: людские обычаи относительно, и, может быть, разумно было бы многие из них осудить. Внутренняя свобода суждения должна сохраняться. Но изменять обычаи не под силу людям, и лучше следовать существующему закону, чем его разрушать. Нужно принимать всяческие меры против людей, желающих нарушить общественный мир, не будучи готовыми ни к чему лучшему. В основе своей этот консерватизм Монтеня есть осуждение неосновательных претензий высших классов, их ложной и неглубокой революционности. Устами философа говорит простолюдин, которому приходится выносить на своих плечах все политические невзгоды.

ГЛАВА XXIV. РАЗЛИЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТОГО ЖЕ САМОГО УМЫСЛА

Властители, которым грозит убийство, могут добиться кротостью и прощением большего, чем мстью. Исторические примеры подобного укрощения строптивых. Император Август и Цинна. Мимоходом: «Я готов думать о врачебном искусстве всё, что угодно, и самое худшее и самое лучшее, так как, благодарение богу, я не имею с ним ничего общего».

Самое высокое *искусство* нуждается в чём-то совершенно не зависящем от человека, противоположном понятию искусства, – нуждается в счастье:

«Но я говорю, что не только в медицине, но и в других искусствах, более надёжных, счастье играет большую роль. Вспышки поэтического вдохновения захватывают автора и восхищают его за пределы его самого; почему же мы не приписываем их его счастью, раз он сам признаётся, что они превосходят его способности и силы, ощущает, что они приходят к нему извне и отнюдь не находятся в его власти? Равным образом, не говорят ли ораторы, что не подвластны им те внезапные порывы и возбуждения, которые заставляют их выходить из рамок их замысла? Точно так же и в живописи с кисти художника порою слетают мазки, которые превосходят его замысел и его познания и приводят его самого в изумление и восхищение. Однако счастье

показывает ещё более наглядно своё участие во всех этих произведениях тем, что прелесть и красота их создаются не только без намерения, но и без ведома автора: достаточно подготовленный читатель часто открывает в чужих мыслях такие совершенства, которых автор не вкладывал и не приметил, и обнаруживает там более богатые чувства и образы».

Роль счастья, внезапного наития и т.д. в военном искусстве:

«Ибо то, чего в состоянии достигнуть наша мудрость, не многого стоит: чем более остёр и жив наш ум, тем скорее он замечает свою слабость, тем сильнее его недоверие к самому себе».

Посреди неуверенности и запутанности положения всегда лучше «принять то решение, которое наиболее благородно и справедливо». В поисках кратчайшего пути лучше идти прямой дорогой. Неблагородное состояние души у тех монархов, которые постоянно опасаются покушений и ограждают себя свирепыми мероприятиями.

Любопытно – к психологии деспотизма. Впоследствии разбор психологического одиночества злых монархов становится общераспространённым приёмом. (Пушкин «Борис Годунов».) Обратные примеры у Монтеня. Александр и врач его Филипп.

Против подозрительности и недоверия к людям:

Благоразумие, слишком осторожное и осмотнительное, – смертельный враг высоких подвигов. Властители больше выигрывают от доверия, чем от

недоверия: Людовик XI, Цезарь. Но для успеха необходимо полное отсутствие колебания. Весьма характерный пример: прекрасное средство склонить на свою сторону сердце и волю других – это подчиниться им свободно и гордо, без всякого внешнего принуждения, проявляя самую чистую и ясную доверчивость или, по крайней мере, не подавая и вида, что вас обуревают какие-либо сомнения.

«В детстве я видел одного дворянина, начальника большого города, который пытался заискривать у разъярённого бунтующего народа; чтобы потушить начавшееся волнение, он покинул совершенно безопасное убежище, в котором находился, и вышел к мятежной толпе; но он был плохо принят и самым жалким образом убит. Однако, на мой взгляд, его ошибка заключалась не столько в том, что он вышел, – обычный упрёк, посылаемый памяти покойного, – сколько в том, что он принял покорный и смиренный вид и вознамерился успокоить ярость толпы, скорее следуя за ней, чем ведя её за собой, скорее умоляя, чем увещывая. Я полагаю, что милостивая суровость в соединении с военной повелительностью, полной решимости и самоуверенности, приличествуя его сану и достоинству занимаемого им поста, позволила бы ему выйти из затруднительного положения с большим успехом и, во всяком случае, с большей честью и благопристойностью. Ничто не может быть более безнадежным перед лицом этого возбуждённого чудовища, как мягкость и кротость: оно способно ощущать лишь почтение и страх. Я упрекнул бы погибшего также в том, что, приняв решение, на мой взгляд, скорее смелое, чем безрассудное, появиться без защиты и оружия посреди бушующего

моря обезумевших людей, он не довёл дела до конца и не выдержал взятой на себя роли; увидав опасность вблизи, он струсил; принятый им ранее униженный и льстивый тон сменился страхом, в глазах и голосе его отразились изумление и ужас, и, пытаясь укрыться и спрятаться, он ещё больше воспламенил толпу и навлёк её гнев на себя». Таким образом, необходима смелая духовная энергия для того, чтобы воскресить пассивность массы. Начальники не должны обнаруживать боязни – в этом секрет повиновения массы. Лучше отдаться в руки врага без страха.

Таким образом, Монтень придаёт аристократизму более теоретический характер. Он считает мудрость выше законов света, но в педантизме видит нечто гораздо более низкое. Его аристократизм – совершенно пушкинский. Дворянский характер мышления Монтеня сказывается, однако, и в большей отвлечённости аристократизма. Он совмещает уважение к предкам с республиканским безразличием и спартанской добродетелью истинной мудрости (вместе с Сократом Монтень признаёт превосходство спартанских форм общественного управления, счастья и добродетели частной жизни в Спарте). Мысль та, что умственное достоинство и достоинство хорошего происхождения должны быть едины. Хуже всего профессиональная учёность. Прихлебательская, а потому реакционная и лакейски-низменная. Мысль глубоко верная для положения идеологических слоёв новой Европы (особенно, конечно, России, ср. идеи Пушкина). Буржуазное «достоинство литератора», опирающееся на развитие печати и книготорговли, пришло позднее, да и то лишь на время и в очень относительной форме.

Простые люди лучше кичливых мещан-педантов: «Возьмите крестьянина или сапожника: вы видите, что они просто и наивно идут своей дорогой, говоря лишь о том, что они знают; а эти, петушась и кичась своими знаниями, осевшими у них в мозгу на самой поверхности, то и дело путаются и попадают в затруднение. У них нет метких слов, – надо, чтобы кто-нибудь другой им подготовил их; они хорошо знают Галена, но не знают больного; ещё не разобрав, в чём суть вашего дела, они уже успевают набить вам голову всякого рода законами; они знают теорию всевозможных вещей, но кто-то другой должен применить её на практике».

Если бы не страсть к обогащению, которая поддерживает престиж некоторых видов знания, то науки и сейчас находились бы в таком же захудалом состоянии, как некогда. Профессиональные учёные, вылезшие на свет божий из «кудлашкиной конуры», приносят больше вреда, чем пользы.

«Но причина указанного выше заключается, быть может, также и в том, что у нас во Франции обучение наукам почти не преследует другой цели, кроме выгоды, если не считать тех, которые отдаются науке, будучи по самой природе своей более приспособлены к благородным занятиям, чем к прибыльным, а также тех, которые обучаются слишком короткое время и, не успев приобрести вкуса к науке, бросают её для какой-нибудь другой профессии, не имеющей ничего общего с книгами. Таким образом, обычно по-настоящему занимаются наукой лишь люди низкого состояния, которые ищут

в этом средств к жизни. А так как души этих людей и по природе, и вследствие домашнего воспитания являются весьма низкопробными, то они дают ложное представление о плодах науки; ибо наука не для того существует, чтобы дать свет душе, которая его не знает, или заставить видеть слепого; задача науки – не даровать зрение, а вышколить его, обучить человека правильно ходить, предполагая, что он и сам по себе не кривоног и способен к этому. Наука – прекрасное снадобье; но никакое снадобье не достаточно сильно для того, чтобы сохраниться без изменения и порчи, если загрязнён сосуд, в котором оно помещено. Иной видит ясно, но косит; другими словами, он видит благо, но не следует ему; видит науку, но не пользуется ей. Главное предписание Платона для его государства состояло в том, чтобы «дать гражданам занятие, сообразное их природе». Природа может всё и делает всё. Хромые мало пригодны для телесных упражнений, а для умственных упражнений мало пригодны хромые души; незаконнорождённые и простолюдины не достойны философии. Увидев человека, обутого в скверные сапоги, мы говорим, что не будет ничего удивительного, если он окажется сапожником. Равным образом опыт доказывает, по-видимому, что часто лекарь хуже лечится, теолог меньше заботится об исправлении своих пороков и учёный обладает меньшими познаниями, чем всякий другой».

Психология вполне противоположная взгляду восемнадцатого столетия, исходившего из первоначальной одинаковости душевных качеств. С точки зрения Монтеня, хороши лишь простолюдины, остающиеся при

своей простоте и не лезущие в высшие регионы духа. Хуже всего люди дурной середины.

В прекрасной системе воспитания обучают прежде всего добродетели, а не наукам. Красота и развитие тела, воздержание, доблесть. Если душа наша не улучшается от занятий, если мы не приобретаем более здравых суждений, то лучше проводить время за игрой в мяч. «Однако не достаточно того, чтобы воспитание нас не портило; оно должно изменять нас к лучшему».

«Мы стараемся только о наполнении нашей памяти и оставляем разум и совесть праздными». Однако «учёными, думается мне, нас может сделать только наука настоящего, но не наука прошлого, — не более, чем наука будущего», надеясь на лучший исход, чем влачить свою жизнь в постоянной тревоге и беспокойстве.

Итак — эта глава подчёркивает тщетность рационалистического хитроумия и призывает оставить место для непосредственных побуждений души, для великодушия, пренебрежения расчётом и т.д. То же самое в применении к государству: самый большой деспотизм приводит только к одиночеству. Слабая сторона абсолютно го правления. Нужна *рыцарственность* в отношениях между властью и народом (коллизия Годунова и Самозванца у Пушкина).

ГЛАВА XXV. О ПЕДАНТИЗМЕ

В юности кажется, что чернь и лица, исключительные по знаниям и уму, всегда должны быть различны во всём. На самом же деле насмешки над «педантами» в комедиях не лишены основания — «самые изысканные умы питали к педантизму наибольшее презрение». Непостижимо — как ум грубый и вульгарный может накапливать, не улучшаясь. Насмешки над педантизмом учёных.

Монтень приводит целый отрывок из «Теэтета» Платона, в котором последний издевается над философами, рассматривающими «мир в целом», так что для них не существует ни почтения власти, ни уважения к богатству и благородству происхождения. Монтень придаёт этой аристократической критике неожиданный оборот, заступаясь за древних философов и противопоставляя им современных. Те презирали мир с высоты своего величия, «этих презирают как стоящих ниже общего уровня, как не способных к общественным делам, как ведущих пошлую жизнь и отличающихся низменными и неблагородными нравами черни».

Старые же философы были велики не только на словах, но и на деле. Они презирали власть и могущество. Они были мудры, а потому странно обвинять их в неблагоразумии. Современные же учёные и не мудры, и не благоразумны. Между излишней учёностью и естественной высотой души существует определённое противоречие.

«Природа, чтобы показать, что нет места дикости там, где она властвует, порождает часто в среде мало просвещённых народов проявления такого остроумия, какое может соперничать с продуктами самого высокого просвещения». Менее учёные и изнеженные народы более доблестны на войне.

Вообще доблесть, государственный ум, практические, деятельные качества души Монтень ставит много выше памяти и холодной страсти к накоплению знаний – этой психологической параллели обычного материального стяжательства.

ГЛАВА XXVI. ОБ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ (МАДАМ ДИАНЕ ДЕ ФУА, ГРАФИНЕ ДЕ ГЮРЗОЙ)

По содержанию – продолжение предшествующей главы.

«Мадам, наука – это великое украшение и чудесное орудие, особенно в руках лиц, возведённых судьбою на столь высокую ступень, как Вы. Ибо, по правде говоря, людьми низкого и неблагородного звания оно не может быть использовано в надлежащей мере: гордость науки в гораздо большей степени в том, чтобы предлагать средства ведения войны и управления народами, поддержания дружбы с государями и иностранными нациями, нежели в том, чтобы выкраивать диалектические доказательства, защищать судебные жалобы или давать рецепты для изготовления бесчисленных пилюль».

Монтень признаёт за собой лишь весьма общие представления о медицине, юриспруденции, математике. Он никогда не грыз себе ногтей, ломая голову над Аристотелем.

«Всякий ребёнок средних классов может назвать себя более учёным, чем я».

«История – вот дичь, за которой я гоняюсь в моих книгах; а также к поэзии чувствую я особен-

ную любовь; Клеанф говорил, что голос, сжатый в узком канале трубы, выходит оттуда более звонким и сильным; точно так же, на мой взгляд, и мысль, сжатая в стопах поэзии, исторгается более бурно и сильнее потрясает нас».

Ряд замечаний против подражательного отношения к текстам древних:

Мы ничтожны рядом с ними, и всё же не следует подправлять отрывками из древних авторов собственные писания. Но следуя современной фантазии, зачастую можно прийти к тем же самым мыслям, какие были у древних.

«Порицать в других мои собственные недостатки кажется мне не более неуместным, чем порицать, как это я часто делаю, чужие недостатки во мне самом: их надо преследовать всюду, не давая им укрыться ни в каком убежище». «Путём заимствований можно добыть уважение “невежественной черни”, но это плутовство может уронить нас во мнении “понимающих людей”. А ведь только их одобрение имеет вес». «Я говорю словами других только для того, чтобы усилить то, что я сам хочу сказать».

Любопытная подробность:

«Сказанное не касается составителей сборников, которые так и публикуют свои произведения как сборники; среди них мне в наше время довелось встречать очень искусных, не говоря уже о древних».

Не следует скрывать своих недостатков литературными украшениями, как нельзя требовать, чтобы художник изображал нас обязательно красавцами. «Я не преследую здесь другой цели, как раскрыть себя самого».

Каков бы я ни был – я таков. Внутренний реализм.

Теория воспитания:

В основе её – истина «трудно насильственно преобразовать заложенное природой». Природу легко лишь маскировать. Платон преувеличивает возможность рационального воспитания на основании догадок о способностях детей.

«Ребёнок из хорошего дома изучает науки не для выгоды (ибо такая низменная цель не достойна милости и благоволения муз и сверх того заставляет оглядываться на других и зависеть от них) и не столько для приобретения внешних преимуществ, сколько для усовершенствования себя самого, для того, чтобы обогатить и украсить себя изнутри, стремясь скорее сделаться образованным человеком, чем учёным; следовало бы поэтому и при выборе ему наставника позаботиться более о том, чтобы голова его была хорошо устроена, нежели о том, чтобы она была плотно набита; требуя как воспитания, так и обучения, надлежит, однако, больше внимания обратить на нравственность и умственную одарённость, чем на учёность».

Воспитатель не должен только требовать повторения; нужно учить ребёнка различать и выбирать

самостоятельно. Учитель, в свою очередь, должен слушать то, что говорит ученик. Так поступал Сократ. Главное – найти нужную пропорцию. «Лишь возвышенным и сильным умам свойственно это умение снизойти до детской поступи и руководить ею». Преподавание должно носить индивидуальный характер. Нельзя внушать слепое доверие к авторитетам. Против исключительного подчинения Аристотелю. Пользуясь старыми источниками, нужно извлечь из них живое содержание. «Истина и доводы разума общи всем людям; они не в большей мере принадлежат тому, кто их высказал впервые, нежели тому, кто высказал их позднее... Пчёлы обворовывают цветки, похищая свою добычу то у того, то у другого; но затем они делают из неё мёд, который весь целиком принадлежит им; это уже более не тимьян и не маеран». «Знать наизусть – не значит знать». «Чисто книжная учёность – докучливая учёность». Прежде всего нужно развивать мысль.

Роль общения с другими людьми и посещения чужих стран. Не следует воспитывать детей под крылышком родителей. Естественная любовь мешает выработке доблестных качеств (мешает, так сказать, «объективному» воспитанию). «Недостаточно закалить душу, надо закалить также и мускулы». Надо приучать себя к мучениям посредством труда. «Привычка переносить труд есть привычка переносить боль». Тюрьма и пытка могут стать участью каждого. «Мы все можем подвергнуться этому испытанию; кто ниспровергает законы, угрожает благомыслящим людям кнутом и виселицей».

Нужно прежде всего знакомиться с людьми, а не знакомить их с собой. Не следует перечить, даже сталкиваясь с глупостью. Приучайте ребёнка не становиться на дыбы по поводу всего, что ему не по вкусу. «Пусть он заботится о собственном исправлении, но не упрекает других за то, чего они не хотят для него сделать, и не нарушает усвоенных обществом нравов. “Следует быть мудрым без пышности, без гордости”²⁸. Избегайте этих претенциозных и неучтивых образцов, этой ребяческой заносчивости, побуждающей держать себя иначе, чем все, чтобы казаться более тонкими и стяжать себе славу новшествами и теми упрёками, которые они вызывают. Подобно тому, как одним только великим поэтам пристало разрешать себе говорить языком искусства, точно так же можно мириться лишь с тем, чтобы великие и славные умы имели привилегию ставить себя выше обычая».

Человек свободен по отношению к истине, он не обязан защищать никакого предвзятого мнения. Он вправе сохранять свободу мысли и по отношению к власти имущим.

«Воспитатель, разделяющий моё умонастроение, направит волю своего ученика так, чтобы он стал верным, преданным и храбрым слугой своего государя; но следовало бы охладить его пыл, если бы он вздумал питать к государю какую-либо иную привязанность, кроме той, которой требует общественный долг. Помимо многих других затруднений, в которые впадает наша свобода вследствие таких личных и частных пристрастий, суждение человека, связанного и подкупленного ими, является не впол-

не искренним и свободным; или же он навлекает на себя обвинение в безрассудстве и неблагодарности. Настоящий придворный не может иметь ни права, ни воли думать иначе, чем это угодно его господину, который среди тысяч других своих подданных избрал его, чтобы приблизить к себе и угощать со своего стола. Эти милости и выгоды естественно ослепляют его, портят и лишают искренности. И мы видим, что язык этих людей обычно отличается от языка всех прочих граждан государства, *и слова их* мало внушают доверия в известных случаях».

Нужно уметь признавать свои ошибки: «упрямиться и оспаривать свойственно в таких случаях людям толпы и есть признак низменной души». Нужно беседовать не только с баловнями судьбы, которые редко бывают людьми способными и достойными. «Пусть исследует он способности и силы каждого человека: пастуха, каменщика, первого встречного, всё надо использовать, от каждого заимствовать то, что он может дать по роду своих занятий, ибо в жизненном обиходе всё может пригодиться». Надо пробудить в ученике благородную любознательность ко всему, что его окружает, интерес к истории. «Как жаль, что люди, одарённые выдающимся умом, так любят краткость: без сомнения, от этого выигрывает их слава, но мы от этого проигрываем». «Имеющие тощее тело придают себе более тучный вид, обёртываясь холстом; имеющие скудное содержание раздувают его словами».

«Мысль человеческая приобретает изумительную ясность вследствие общения с миром; все мы стеснены и загромождены собой и видим не дальше собственного носа». «Но кто представляет себе,

как на картине, грандиозный образ нашей матери природы во всём его величии; кто читает в её лице всё её постоянное разнообразие; кто замечает себя самого там, внутри, и не только себя, а целые царства, как мельчайшие чёрточки, – тот и только тот постигает вещи в их подлинных размерах».

Вот почему необходимо ознакомление со всем разнообразием чужих склонностей, суждений, сект, законов и обычаев. Мы лучше познаём благодаря этому свою собственную слабость.

Демократическое содержание этой теории относительности:

«Пышность и гордость чужестранных торжеств, величие и надменность стольких властителей и их дворов укрепят наше зрение и позволят нам уверенно выдерживать блеск наших собственных, не жмуря глаз».

Пифагор: одни упражняют своё тело, другие ищут прибыли; есть и такие – далеко не худшие, – которые «хотят быть зрителями жизни других людей». Воспитание должно носить практический нравственный характер – внушать правила и меру всего. Из искусств нужно выбрать наиболее свободные. Из наук большая часть не нужна – ограничиться требованиями пользы.

«Замечательно, что в наш век философия, даже для людей сведущих, есть не более как пустое и фантастическое наименование и не находит себе применения и надлежащей оценки ни во мнениях, ни на деле. Виноваты тут, как я полагаю, эти бесплодные словопрения, захватившие подступы к фи-

лософии». Её изображают недоступной и хмурой. «Не такова действительная физиономия философии; нет ничего более весёлого, бодрого, радостного, я чуть было не сказал – игривого; она проведует только праздники и хорошую погоду; её печальный и оцепенелый вид показывает, что она не в своей тарелке». Подробное обоснование весёлого нрава философии. Цель её – добродетель – находится вовсе не на вершине недоступной скалы, а посреди плодоносной и цветущей равнины. Достигнуть её можно по тенистым тропам, среди цветов и благоуханий. «Им не случалось встречаться с этой высочайшей добродетелью, прекрасной, торжествующей, любвеобильной, одновременно кроткой и мужественной, являющейся заклтым и непримиримым врагом всякой злобы, неудовольствия, страха и гнёта, имеющей своим вождем природу, своим спутником – счастье и наслаждение, и вот они по слабости своей измыслили этот дурацкий образ: мрачный, сварливый, сердитый, угрожающий, коварный и поместили его на удалённой скале, обросшей терниями, – призрак для запугивания людей».

Дальнейшее описание добродетели-мудрости: «ценность и возвышенность истинной добродетели состоят в лёгкости, пользе и удовольствии её применения; бремя её настолько не тяжело, что дети в силах нести его в такой же мере, как взрослые, простые люди – в такой же мере, как образованные. Её оружие – порядок, а не сила». «Она упрочивает и очищает наши удовольствия, внося в них справедливость; умеряя, делает их более привлекательными и желанными». «Она умеет стать

богатой, могущественной, учёной, покоиться на раздушенных подушках; она любит жизнь, любит красоту, славу, здоровье; но её собственное и подлинное дело – научить пользоваться всеми этими благами упорядоченно и всегда, если нужно обходиться без них, – обязанность, гораздо более благородная, чем тягостная; без неё всё течение жизни было бы извращено, обезображено и превращено в хаос; отсюда-то, без сомнения, и возникают все наши подводные камни, дебри и уродства». Высшая добродетель – мера.

Если ученик скорее слушает басни, чем мудрые речи, если звукам тамбурина он предпочитает игру фигляров, если выигрыш он предпочитает военной доблести, то нет другого выхода, как сделать его пирожником, хотя бы он был сыном герцога.

Это красноречиво.

Не следует учить чему-нибудь большему, чем простым рассуждениям философии. Они понятны. «Дитя, только что вышедшее из рук кормилицы, способно к этому гораздо больше, чем к постижению чтения и письма». Не следует заставлять ребёнка слишком много работать, он потеряет способность поддерживать светское общение и т.д. Алчность в познании приводит к тупости. Всё окружающее даёт ученику материал для изучения: комната, обеденный стол, общество и т.д. Урок должен быть нечувствительно примешан ко всему. Самые игры будут обучением, прогулка, музыка, танцы, охота, управление лошадьми и оружием. Внешние способности должны формироваться вместе с душой.

«Обучению подвергается не душа и не тело, а человек; не следует разделять его надвое». Прав в этом отношении Платон: «И всё же он, по-видимому, не уделял достаточно времени и внимания упражнениям тела и думал, что не душа упражняется вместе с ним, а наоборот».

Очень ярко выраженная материалистическая мысль.

Не должно быть насилия и принуждения. Следует приучать ребёнка к опасностям и устранить всякую изнеженность. «Пусть он будет не щёголем и дамским угодником, а крепким и сильным юношей». Осуждение существующей системы обучения в коллегиях. Наказания приучают к распутству. Особенно против телесных наказаний. Подсластить полезные кушанья и придать горький вкус вредным. Платон много занимался вопросом об увеселениях, а не о книжной мудрости.

«Всего странного и исключительного в наших нравах и нашем поведении следует избегать как враждебного обществу». Нужно с юности приучать человека ко всему, даже к беспутству, раз это необходимо. Его навыки должны следовать обычаям: пусть он умеет делать всё, но любит делать только хорошее. Пусть даже в кутеже превосходит своих сотоварищей, пусть не обижает других по доброму нраву, а не по отсутствию силы. «Благоразумие в начинаниях, доброта и справедливость в отношениях к людям, логичность и изящество в речах, стойкость в болезнях, скромность в забавах, умеренность в страстях, порядок в хозяйстве, неприхотливость

вкуса в пище и питье». «Мы, желающие воспитать дворянина, а не грамматика или логика...».

Если человек плохо выражается, то не по отсутствию умения при наличии прекрасных мыслей, а потому что вместо мыслей у него имеются лишь «смутные тени каких-то бесформенных представлений».

Против механического понимания искусства формы. Формальные недостатки коренятся в недостатках содержания.

Простые люди – слуга или торговка с Малого Моста – прекрасно займут вас разговорами «и ни разу не отступят от правил своего языка, не хуже самого учёного профессора Франции». А между тем они не знают риторики. «Я не принадлежу к числу тех, которые думают, что раз ритм хорош, то хорошо и стихотворение; пусть автор, если это ему угодно, удлинит короткий слог: что за важность; если его образы дышат жизнью, если его ум и его логика хорошо выполнили своё дело, то я скажу: вот хороший поэт, но плохой стихослагатель». Ссылки на Горация. Хороший поэт узнаётся даже, если выкинуть все сочетания и размеры. Так думал и автор комедий Менандр: «Раз содержание им продумано, он не придавал особого значения остальному».

«С тех пор как Ронсар и дю Беллэ подняли престиж нашей французской поэзии, нет такого юного школьника, который не подбирает бы напыщенных слов и не составлял бы стихов, звучащих почти как у них. “Больше благозвучия, чем смысла”²⁹. Для людей толпы никогда не существовали поэты в настоящем смысле этого слова; но так как им нетрудно

было усвоить себе их ритмы, они с одинаковой лёгкостью подражали богатым описаниям одного, изящным образам другого».

Поэтика Монтеня направлена против формализма.

То же применительно к прозе. «По-моему, вещи должны всплывать наверх и таким образом заполнять воображение слушателя, чтобы слова не оставляли в нём никакого воспоминания».

Эта мысль высказывалась много позднее Шиллером.

«Речь, которую я люблю, – это речь простая и естественная, всё равно, письменная или устная; речь сочная и нервная, краткая и сжатая; не столько изящная и разукрашенная, сколько сильная и острая... скорее трудная, чем скучная; далёкая от натянутости; неправильная, незализанная и смелая; каждый кусок её должен иметь самостоятельное значение; построенная не по-учённому, не по-монашески, не по-адвокатски, а скорее по-солдатски, как Светоний называет речь Юлия Цесаря, хотя я не совсем понимаю, почему он её так называет». Погоня за новыми фразами и мало известными словами свидетельствует о «схоластическом и детски примитивном честолюбии». Почему я не могу удовольствоваться употреблением одних тех слов, которыми пользуются при дворе в Париже? «Всякая натянутость, особенно при нашей французской весёлости и свободе, не прилична для придворного, а в монархии каждый дворянин должен быть воспитан по образцу придворных; поэтому мы хорошо поступаем, уклоняясь в сторону простоты и небрежности». Отсюда допустимость небрежности в costume.

Далее некоторые подробности из собственного воспитания Монтеня.

Мягкая система воспитания. Даже будят его, по распоряжению отца, посредством музыки. Незаметное обучение латыни «наподобие латинских матерей» (Аббат Манжен, 1818). Латинским языком Монтень владел ещё в юности необычайно свободно. Греческому языку отец хотел обучить его при помощи особых забав. Характеристика собственного склада ума. В детстве он проявил также способность актёра. По этому поводу существенные замечания о социальной роли театра. Это занятие полезно для молодёжи и даже для государей. «Я всегда обвинял в нетерпимости тех, которые осуждают эти забавы, в несправедливости – тех, которые запрещают доступ в хорошие города искусным актёрам, лишая народ этого общественного развлечения. Хорошая политика заботится о том, чтобы собирать и соединять граждан как для серьёзных обязанностей и дел благочестия, так и для упражнений и игр; это развивает общественные связи и дружелюбие. И сверх того, едва ли можно представить себе забавы, более упорядоченные, чем театральные представления, совершающиеся в присутствии всех и каждого, на виду у самого магистрата. Я считал бы разумным, чтобы государь жертвовал иногда на эту цель кое-что из собственных средств общественным управлению, в знак своей отеческой любви и благорасположения, и чтобы в многолюдных городах были отведены особые места, предназначенные для этих спектаклей: некоторое отвлечение от худших и тайных удовольствий».

ГЛАВА XXVII. БЕЗУМНО СУДИТЬ ОБ ИСТИННОМ И ЛОЖНОМ НА ОСНОВАНИИ НАШЕЙ УЧЁНОСТИ

«Чем более пуста и лишена противовеса душа, тем скорее склоняется она под бременем первого же убеждения; вот почему дети, простолюдины, женщины и больные в наибольшей степени поддаются уговорам». Но, с другой стороны, глупо и рационалистическое самомнение.

Раньше Монтень проникался состраданием к бедному народу, обманываемому всякими нелепостями, чудесами и т.д. Теперь он видит, что сам достоин сожаления.

Безрассудно осуждать с такой решительностью ложное, основываясь на нашем знании. Мало ли чудес вокруг нас? «Уже насытившись видом небес, мы не достаиваем созерцать их сверкающие чудеса» (Лукреций, II, 1038). «Если мы хорошо постигли разницу между невозможным и необычным, между тем, что противоречит порядку вещей в природе, и тем, что противоречит общему мнению людей, мы были бы одинаково чужды как смелой веры, так и легкомысленного неверия, и соблюдали бы рекомендованное Хилоном правило: “Ничего чрезмерного”».

Смысл психологии Монтеня совершенно ясен. Податливость, пассивность простолюдина и дерзкое самомнение высших – две крайности.

«Истинная философская доблесть чтит простодушие и способность верить, души простых людей нуждаются в укреплении и поддержке со стороны сильных умов». Среднее состояние, мера – вот то, что их объединяет.

Сталкиваясь с чудесами, мы должны измерять возможность их авторитетом свидетеля. И вообще роль авторитета не должна забываться. Не следует слишком решительно, самим устанавливать границы истины и лжи. «И на мой взгляд, большую смуту вносит в нашу совесть и в нашу религию уступчивость, проявляемая католиками в их верованиях». Это только на пользу врагам католицизма. «Надо или целиком подчиниться авторитету установлений нашей церкви, или совершенно освободиться от него; нам не дано определять, в какой части обязаны мы ему повиновением».

Очень важное положение. Оно направлено именно против *дурного* среднего, отрицательной тени истинной меры.

ГЛАВА XXVIII. О ДРУЖБЕ

Высокая оценка Ла Боэси, который приближался по своим достоинствам к античности. Путь к дружбе Монтеня и Ла Боэси был проложен «Добровольным рабством».

Дружба – выше четырёх видов привязанности (естественная, общественная, гостеприимство, половая любовь). Даже родственников разделяют часто материальные интересы. «Но ничто не является таким подлинным произведением добровольности и свободы, как привязанность и дружба». Половая любовь умирает там, где начинается дружба. Женщины по своему умственному развитию и качествам души не подходят для дружбы. Не будь этого, «мог бы возникнуть такой свободный и добровольный союз, куда не только были бы полностью вовлечены души, но где и тела имели бы свою долю участия, – союз, которому отдался бы весь человек целиком; и бесспорно, в нём дружба достигла бы наибольшей полноты и насыщенности». Однако этого не бывает.

Весьма характерно это полуантичное, полудворянское отношение к женщине как к низшему существу и одновременно – могучему любовному врагу.

Педерастия осуждается.

Дружбой руководит какая-то невыразимая, роковая сила. Прежде всего – друзья, а потом уже – гражд-

дане. Разница между истинной и обыкновенной дружбой. Дружба не может быть множественной. Дружба захватывает все стороны человека, прочие союзы имеют более односторонний <характер>: «В приятельской компании, собравшейся за столом, я присоединяюсь к тому, кто более забавен, а не к тому, кто более мудр; в постели красоту ставлю выше доброты; на диспуте ценю выше всего красноречие, хотя бы и без добросовестности; точно так же и во всех других случаях».

И подобная многосторонность критериев в общении с людьми вполне справедлива.

К трактату Ла Боэси Монтень относится как к прекрасному литературному произведению, но считает, что его покойный друг мог написать что-нибудь более зрелое.

«Я узнал, что этот труд его уже был выпущен в свет, и с дурным намерением, людьми, которые хотят разрушить и изменить наш государственный строй, не задумываясь над тем, смогут ли они его улучшить; они смешали это сочинение с другими писаниями – стряпнёй своей кухни; поэтому я отказался от мысли поместить его здесь».

Кающийся декабризм XVI столетия.

Разъяснение намерений Ла Боэси. Он написал свою книгу ребёнком в виде традиционного упражнения в риторике. Конечно, если бы он мог выбирать, он предпочёл бы родиться в Венеции, а не в Серлаке; «и в этом он был вполне прав». Позднейшая

аналогия: «Но и другого рода требование властно запечатлелось в его душе, а именно обязанность свято повиноваться законам той страны, в которой он родился. Никогда не было лучшего гражданина, более озабоченного сохранением мира в своей стране, большего врага смут и новшеств нашего времени. Он гораздо охотнее употребил бы свои знания на то, чтобы подавить эти волнения, нежели на то, чтобы разжигать их ещё больше; дух его был выкован по образцу других времён, а не тех, в какие мы живём».

ГЛАВА XXIX. ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ СОНЕТОВ ЭТЬЕННА ДЕ ЛА БОЭСИ

Эти стихотворения написаны в ранней юности и согреты пылом прекрасной и благородной страсти. «Остальные свои стихи сочинил он позднее, готовясь вступить в брак, в честь своей будущей жены, и от них уже веет каким-то супружеским холодком. Я придерживаюсь того мнения, что поэзия озаряет своей счастливой улыбкой лишь душу игривую, не скованную никакими скучными правилами».

Некоторые из сонетов Ла Боэси действительно хороши.

ГЛАВА XXX. ОБ УМЕРЕННОСТИ

Добродетель становится порочной от необузданности. «Я люблю натуры умеренные и средние; неумеренность, даже в добре, неприятно меня задевает, поражает, и я затрудняюсь найти для неё настоящее имя». «Стрелок из лука, взявший дальше цели, промахнулся точно так же, как и тот, стрела которого не долетела до цели. И в глазах моих темнеет, когда я смотрю прямо на яркий свет, точно так же, как и тогда, когда я вперяю их в темноту».

Крайности философии опасны; они делают человека необщительным, врагом законов и обычаев и т.д. (Платон).

Неумеренная дружба к нашим жёнам не хороша. «В законном супружестве можно так же впасть в распущенность и разврат, как и в связи незаконной». Скупость в супружеских ласках необходима. Уважение к беременности. Более правильно дополнять брак похотливой связью.

Но человек – несчастное существо. Он вынужден урезывать доступные ему немногие наслаждения и прикрашивать свои горести. «Лишь то, что уязвляет наш желудок, может лечить его». Посты, бичевания, человеческие жертвоприношения в надежде на то, что страданиями человека можно угодить небесам.

ГЛАВА XXXI. О КАННИБАЛАХ

Обо всём надо судить на основании разума, а не общей молвы. Простые и грубые люди более правдивы, чем тонкие. «Тут нужен человек или чрезвычайно добросовестный, или настолько недалёкий, чтобы он не был в состоянии возводить фантастических построек и придавать правдоподобие ложным вымыслам, будучи к тому же в достаточной мере равнодушным ко всему, что он видит». (Добродетель простолюдинов – пассивное отражение правды, но это же и недостаток – неустойчивость, способность легко заблуждаться. Активность и в хорошем и в дурном принадлежит людям высших классов.) На основании рассказов одного из таких людей Монтень приходит к выводу, что дикарей напрасно называют «варварами». Мы кажемся себе наиболее совершенными во всём – в религии, государстве и т.д. Дикими нужно называть не плоды природы, а те, которые мы извратили своим искусством. «Неправильно было бы приписывать искусству больше чести, чем нашей великой и могучей матери природе. Искусство тщетно – гнездо маленькой птички и паутина посрамляют его». Платон (Законы, X) ставит продукты искусства ниже того, что произведено природой или судьбой.

«Эти народы кажутся мне, таким образом, варварскими в том смысле, что в своём образе жизни они ещё очень мало заимствовали от человеческой

изобретательности и ещё очень близки к своей первоначальной простоте. Ими управляют ещё законы природы, весьма мало искажённые нашими законами». Всё, что мы видим у них, превосходит фантазию поэтов о золотом веке и требования самой философии. «Философы не в состоянии были вообразить первобытность столь чистую и простую, как мы это видим на опыте, и не могли поверить, что общество наше может держаться с таким ничтожным количеством искусственно создаваемых средств и связей. Вот народ, сказал бы я Платону, у которого нет никакой торговли, никакой письменности, никакого знакомства с числами, никаких признаков власти или политического господства, никаких следов рабства, богатства или бедности, никаких договоров, никаких наследств, никаких разделов, никаких заятий, кроме добровольных, никакого уважения к древности рода, никаких одежд, никакого земледелия, нет в употреблении ни металлов, ни вина, ни хлеба, нет даже слов для обозначения таких вещей, как ложь, предательство, притворство, скупость, зависть, злословие, помилование. Насколько далёкой от этого совершенства он должен был бы признать измышлённую им республику!». Идеализированное изображение образа жизни дикарей. Мораль их пророков: быть стойким на войне и любить своих жён. Если пророк ошибается в своих предсказаниях, его разрубят на тысячу кусков. Храбрость на войне. Пленных убивают и едят. Но в цивилизованных странах с пленными обращаются гораздо хуже. «Гораздо большее варварство, говорю я, – терзать так живого человека, нежели зажарить и съесть его». Дикари – варвары «по сравнению с тем, что пред-

писывает человеку его разум, но не по сравнению с нами». Их войны извинительны, «насколько вообще это достижимо для такой язвы человечества». Они сражаются ради доблести, а не ради новых земель. Их желания вытекают только из естественных нужд.

Общая собственность: «Обычно у них называют друг друга братьями люди одинакового возраста; своими детьми зовут они всех, кто моложе; старики считаются отцами всех прочих. Эти последние оставляют своим наследникам в полную и общую собственность всё своё имущество без раздела и без всякого иного права на владение, кроме того, которое дарует своим созданиям природа, производя их на свет». Реалистические детали.

Они правильно судят, что победа достигается лишь тогда, когда враг проявляет слабость, «растерянность». «Кто, даже испуская дух, всё ещё продолжает мерить своего врага твёрдым и презрительным взглядом, тот разбит не нами, а судьбой». (Ссылка на Сенеку, *De Constantia Sapientis*³⁰, гл. 6.)

«Выстрел» Пушкина. Рыцарская, а не буржуазная теория войны:

«Истинная победа обнаруживается в самой схватке, а не в благополучном выходе из неё; воинская честь и доблесть состоят в том, чтобы хорошо биться, а не в том, чтобы разбить».

У Монтеня имеются и противоположные мнения.

Многоженство не осуждается. Ссылки на древний Израиль и античность. Образец любовных песен

дикарей. «Я достаточно имел дело с поэзией, чтобы решиться сказать, что в этом изображении нет не только ничего варварского, но что оно выполнено совершенно в духе Анакреона. К тому же язык их мягок, звуки его приятны и окончания слов иногда напоминают греческие».

Всего любопытнее, однако, следующее.

Трое дикарей попали ко двору Карла IX. Они очень удивлялись тому, что такое множество больших бородатых, вооружённых людей соглашается по-виноваться ребёнку. «Во-вторых (в их языке есть та особенность, что одних людей они называют «половинками» других), они обратили внимание на то, что среди нас есть люди цельные и в изобилии снабжённые всякими благами жизни, в то время как их «половинки» толпятся у их дверей, нищие и истощённые голодом и бедностью; они находили изумительным, что эти «половинки», столь нуждающиеся, выносят такую несправедливость, а не хватают цельных людей за горло и не предают пламени их дома».

Это красноречиво.

ГЛАВА XXXII. О БОЖЕСТВЕННОМ ПРЕДНАЧЕРТАНИИ НАДО СУДИТЬ ОСМОТРИТЕЛЬНО

В области наиболее тёмной легче всего обманывать. Критика тех, которые думают в каждом событии найти какое-нибудь непосредственное вмешательство божества. Нет, земные события надо отделить от бога. Намерения его настолько сокровенны, что догадаться о них невозможно. «Кто поднимает глаза вверх, чтобы воспринять больше света, пусть не сетует, если в наказание за такую заносчивость он лишится зрения».

В общем, глава направлена против сомнения религиозных партий.

ГЛАВА XXXIII. О ТОМ, КАК ЖЕРТВУЮТ ЖИЗНЬЮ, УБЕГАЯ ОТ НАСЛАЖДЕНИЙ

Ироническое отношение к стоицизму (который есть даже у Эпикура). Ирония над христианским аскетизмом.

ГЛАВА XXXIV. СУДЬБА ЧАСТО ПЕРЕСЕКАЕТ ПУТИ РАЗУМА

Употребление слова «судьба» (*la fortune*) вместо «провидение» было осуждено цензурой, во время пребывания Монтеня в Риме в 1581 г.

Судьба является своего рода артистом. Вот мораль этой главы, содержание которой ясно из заглавия.

ГЛАВА XXXV. О НЕДОСТАТКАХ НАШИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Монтень предсказывает рекламу спроса и предложения. Он советует следовать обычаю его отца: записывать вместе с хозяйственными делами и различные факты семейной истории.

ГЛАВА XXXVI. ОБЫЧАЙ НОСИТЬ ОДЕЖДЫ

Так как всё подчинено одним и тем же законам (ссылка на святое писание), то «рассудительные люди привыкли в вопросах подобного рода, где надо различать законы естественные от выдуманных нами, обращаться, прежде всего, к общему мировому распорядку, в котором не может быть ничего подложного». Полагает, что первоначально человек не имел надобности в одежде. Здоровее и лучше, видимо, именно последнее. Монтень дважды сравнивает свою одежду с одеждой простых крестьян и, кажется, к выгоде последних.

ГЛАВА XXXVII. О КАТОНЕ МЛАДШЕМ

Я не сужу о других по себе, умею применять к ним их собственную меру. «Силою воображения я легко могу перенести себя в их положение, и я люблю и почитаю их тем сильнее, что они не такие, как я».

Монтень желает, однако, чтобы его также не заставляли следовать общим примерам.

«Век, в который мы живём, по крайней мере в нашей стране, поражён такой тупостью, что, не говоря уже о применении добродетели на деле, самое представление о ней даётся с трудом и она кажется не более как школьным оборотом речи».

Правило Монтеня:

«Суждения наши далеко не здоровы и следуют испорченности наших нравов. Я вижу, что большинство умов нашего времени изощряется в попытках затемнить славу прекрасных и благородных деяний древних, давая им какое-нибудь низменное истолкование и подыскивая для них суетные поводы и причины... Обязанность благомыслящих людей — изображать добродетель возможно более прекрасной, и не беда, если мы будем увлечены страстью к столь возвышенным образцам». Поступающие иначе делают это из злобного недоброжелательства,

или судя по собственной мерке, или из непонимания. Истолковать порочным образом можно любой поступок, и весьма правдоподобно.

Поэзия: «Вот странная вещь: у нас гораздо больше поэтов, чем судей и истолкователей поэзии; легче создавать поэтические произведения, чем постигать их. До известной невысокой ступени можно судить о ней на основании предписаний и правил искусства; но прекрасное, высокое, божественное стоит выше всех правил разума. Кто усматривает её красоту твёрдым и уверенным взглядом, тот видит лишь блеск её лучей; она не занимает наш ум; она его восхищает и опустошает. Восторг, охватывающий того, кто умеет погружаться в поэзию, передаётся и третьему лицу, которому излагают и цитируют поэтическое произведение; так магнит не только сам притягивает иглу, но одаряет её способностью в свою очередь притягивать другие иглы. И всего яснее мы видим в театрах, как священное вдохновение, возбудив в поэте гнев, печаль, ненависть, заставив его забыть о себе и идти туда, куда хотят музы, через посредство поэта передаётся актёру, а через посредство актёра распространяется мало-помалу среди всего народа; так нанизываются на общую нить наши магнитные иглы и подвешиваются одна над другой».

ГЛАВА XXXVIII. КАК ОДНА И ТА ЖЕ ВЕЩЬ ЗАСТАВЛЯЕТ НАС ПЛАКАТЬ И СМЕЯТЬСЯ

«Часто наши души могут волновать противоположные страсти». Среди разнообразных движений души обычно господствует одно; но это не значит, «чтобы, в силу гибкости и подвижности нашей души, даже самые слабые душевные движения не отвоевали себе порой места и не добивались временного преобладания». Мы оплакиваем смерть лица, которого не хотели бы видеть в живых. Как свет солнца не сплошной, а лучистый, так и наша душа неприметно выделяет из себя проявления различных чувствований.

«Мы с твёрдой решимостью стремимся отомстить за нанесённую нам обиду и ощущаем полное удовлетворение, одержав победу, и, однако, мы плачем при этом. Не победу мы оплакиваем; мы ничуть не изменились; но душа наша способна видеть вещи другими глазами, представлять их себе с иной точки зрения; ибо каждая вещь имеет различные стороны и лики». Можно убить для достижения определённой цели, и можно оплакивать убитого (не убийство).

Основа шекспировских характеров.

ГЛАВА XXXIX. ОБ УЕДИНЕНИИ

«Человек – самое неуживчивое и самое общительное существо: первое – в силу своих пороков, второе – по своей природе». Мудрец может выносить толпу, но изберёт уединение. Нужно вести жизнь возможно более достойную и независимую. Но домашние дела не менее хлопотливы, чем государственные. «Недостаточно удалиться от народной толпы, недостаточно переменить место». Надо обладать самим собой. «Надо, следовательно, очистить душу и вернуть её к себе: это и есть истинное уединение, которым можно пользоваться среди шумного города и при дворах королей». «Достижением истинной способности “жить в одиночку”, свободно, без всяких уз, повинаясь собственному желанию».

«Следует заготовить себе укромный уголок, который был бы целиком наш, недоступен никому другому, где мы могли бы утвердить нашу истинную свободу, найти основное прибежище и подлинное уединение». Насмешки над теми, которые умучивают себя ради науки, государей и т.д. Не следует дрожать за жизнь наших жён и детей. «Может ли человеку взбрести на ум любить что-либо больше, чем самого себя?» (Теренций). «Мы достаточно жили для других; проживём для себя, по крайней мере, остаток нашей жизни». «Величайшая вещь в мире – это умение быть самим собой. Пора нам

развязаться с обществом, раз мы ничего не можем ему дать. А кто не в состоянии давать, тот пусть не позволяет себе брать». Под видом служения обществу скрываются большею частью честолюбие и корыстолюбие, но неправильно, ослабляя всякие свои обязательства и связи, стараться сразу потерять всё, чтобы не бояться ничего. Такой философский цинизм крутых и сильных людей показывает, что они даже уединение своё хотят сделать источником славы. Нет. Не надо идти так далеко. Умеренность. По отношению к хозяйству нужно найти середину между поглощённостью им и полным небрежением. Не следует злоупотреблять книжными занятиями. Весёлость и здоровье – наше лучшее достояние. Следует построить жизнь по правилам разума, упорядочить и организовать её путем размышлений и заранее обдуманых предписаний. Достигая крайнего предела удовольствия, нужно остерегаться идти дальше – туда, где к нему у нас начинает примешиваться страдание. Слава и покой не могут ужиться под одной кровлей. Желать извлечь славу из своего досуга и уединения – суетное тщеславие.

ГЛАВА XL. РАЗМЫШЛЕНИЕ О ЦИЦЕРОНЕ

Эта глава направлена против болтливости красноречия, тщеславного желания опубликовывать всякую мелочь и чепуху. Смешно, когда короля хвалят за то, что он хороший живописец или архитектор, или искусный стрелок из пищаля, или ловко бежит наперегонки. Против языка льстивого и высокопарного. Характеристика собственного стиля. «Я смертельно ненавижу всё, что пахнет лестью; вследствие этого я естественно склонен говорить сухо, кратко и грубо, так что тот, кто будет судить обо мне только по моей манере выражаться, сочтёт меня несколько высокопарным».

Насмешки над титулами, особенно купленными, и над всякими ложными, смешными формальностями, требуемыми в обращении к лицам судебного и финансового ведомства.

ГЛАВА XLI. О ТОМ, ЧТО СЛАВА НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ ДРУГОМУ

Каждый должен сам добывать себе свою славу. Можно пожертвовать своей славой в пользу другого, но этим можно только увеличить чужую славу, не мешать ему, или спасти от беславия. Больше невозможно.

ГЛАВА XLII. О НЕРАВЕНСТВЕ, ИМЕЮЩЕМСЯ СРЕДИ НАС

Огромна разница между людьми, но это разница душевных качеств. Собаку, сокола мы оцениваем не по ошейнику или цепочке. Почему же не оцениваем мы точно так же и человека по тем качествам, которые принадлежат ему самому? «Мы говорим, что он ведёт пышную жизнь, имеет прекрасный замок, пользуется таким-то кредитом, получает столько-то дохода; но всё это вокруг него, а не в нём».

Обширные рассуждения насчёт того, что человек, как и поросёнок, не продают в мешке. Здоровое и ловкое тело, дарования, самостоятельность мысли, хладнокровие перед лицом смерти, уверенность в себе, уравновешенность, удовлетворённость – вот критерии, а не богатство и почести. Если человек велик, то он стоит выше королевств и герцогств. Он может наслаждаться здоровым умом и радовать свои чувства, как того требует природа и Лукреций.

«Сравните с этим суматоху среди современных людей, тупых, низких, раболепных, непостоянных, всегда волнуемых бурей различных страстей, которые толкают их то туда, то сюда, всецело зависящих от других; ведь это небо и земля; а между тем таково наше обычное ослепление, что мы этого совсем не замечаем; вот когда мы видим крестьянина и короля, знатного и простолюдина, начальника и частного человека, богатого и бедного, нам сразу же

бросается в глаза чрезвычайное несходство между ними, хотя, в сущности говоря, они различаются друг от друга только своими штанами и чулками».

Подобно тому, как буржуазная демократия имеет две ипостаси равенства: права гражданина и права человека, так имеет две стороны и демократия дворянская: равенство баронов, король – только первый среди равных, и равенство естественное, равенство тел, равенство животных, равенство близости к природе (в древности – равенство перед Аидом). Но между этими двумя сторонами лежит открыто признаваемое неравенство, а не потаённая механика капиталистической эксплуатации.

Император, ослепляющий нас пышностью, подобен актёру, который обращается в самого себя за кулисами. «Это самый обыкновенный человек и, быть может, более низменный, чем последний из его подданных». Ничто не может избавить его от человеческих слабостей: трусости, честолюбия, зависти, лихорадки, колик в желудке. «Перед нами всего-навсего человек: и если он родился уродом, этого не исправит его власть, хотя бы ей подчинялся весь мир... Что толку от всего этого, раз человек груб и туп от природы?» Царствовать – довольно тяжёлое занятие. «Легче и приятнее повиноваться, нежели приказывать». Благодаря доступности удовольствия лишены для короля той прелести, какую они имеют для частного лица. Для государя настоящий праздник – надеть маску и спуститься до уровня обыденной простонародной жизни. «Нет ничего столь надоедливого и столь безвкусного, как чрезмерное изобилие». «Жизнь монархов ярко освещена, за каждый проступок их обвиняют в тирании,

презрении к законам и т.д. Весьма неприятно есть и отправлять свои естественные потребности под присмотром множества слуг; пользоваться услугами людей, совершавших большие государственные подвиги и т.д.. Преимущества государей – преимущества мнимые».

Кроме того, положение сеньора немногим уступает королевскому. Где-нибудь в Бретани сеньор-домосед среди своих слуг и вассалов выглядит совсем по-королевски. О короле он вспоминает только по поводу тех отдалённых родственных связей с королевским домом, которые записаны в книге у его секретаря. «Поистине, законы наши предоставляют нам достаточно свободы; и самодержавие даёт почувствовать свою тяжесть французскому дворянину едва ли два раза за всю его жизнь. Действительное и существенное подданство испытывают среди нас только те, которые добровольно подчиняются ему и хотят извлекать из такого подчинения почести и богатства; а кто ведёт укромную жизнь у своего домашнего очага и умеет управлять хозяйством, не затевая споры и не судясь со своими соседями, тот у нас не менее свободен, чем дож Венеции».

Дальнейшее принижение королевского достоинства. Положение монарха по отношению к подданным – самое тяжёлое. «Все действительные удовольствия, выпадающие на долю государей, таковы же, как и у людей среднего состояния, – одним богам предоставлено садиться на крылатых коней и питаться амброзией; такой же у них сон и такой же аппетит, как и у нас; и сталь их – не лучшей закалки, чем та, которой вооружаемся мы; корона же не защищает их головы ни от солнца, ни от дождя».

«Нравы каждого создают ему его судьбу» (Корнелий Непот).

Итак, все люди физиологически равны, но различаются по своим душевным качествам и развитию тела. Уважение должно быть распределено не по чинам, а по личным достоинствам. Частный человек – король у себя дома.

(Но равенство прав возможно лишь внутри определённого сословия, на одинаковой ступени общества. Буржуазная демократия, напротив, распространяет частное право на всё общество, но элементарные права человека её не интересуют, и в этом отношении капитализм беспощаднее, чем феодальный порядок. Вот почему материалистический гуманизм перигорского дворянина во многом ближе к эпохе, когда в центре внимания стоят именно не политические и не юридические, а элементарные права человека.)

ГЛАВА XLIII. О ЗАКОНАХ ПРОТИВ РОСКОШИ

Нужно внушать к ней отвращение. Критика распущенности и новшеств в костюме. Среди других нововведений: «Вопреки обыкновению наших отцов и в нарушение исключительной свободы, предоставленной благородному сословию нашего королевства, мы в любом месте так долго остаёмся в их присутствии (т.е. в присутствии королей) с непокрытыми головами; да и не только в их присутствии, а и в присутствии сотни других людей – так много развилось у нас теперь маленьких корольков, половинок и четвертинок настоящего короля; немало и других порочных нововведений подобного рода». Продолжительность и прочность обычаев и привычек – признак их авторитета.

ГЛАВА XLIV. О СНЕ

Человек должен быть добродетелен, но не должен напоминать бесчувственного и неподвижного колосса. Самые важные люди предавались спокойному сну накануне своих подвигов.

ГЛАВА XLV. О БИТВЕ ПРИ ДРЁ

Общая мысль такова: «Целью и стремлением не только командира, но и всякого солдата должна быть победа в целом», и «никакие частные обстоятельства, как бы важны они ни были, не должны отвлекать от этой главной задачи». Если выгодно нападать с тыла, то не так уж умно придерживаться рыцарских правил, всё равно приходится отступать от них. – Такова война, такова жизнь.

До известной степени цель оправдывает средства; относительность средств, которые старый, раздробленный, не умеющий подчинять себя разумной цели средневековый индивид готов рассматривать как нечто самодовлеющее, как самоцель.

Ирония над этой эстетической независимостью частных побуждений, поступков, движений, жестов, над всем этим «романтизмом средних веков», как сказал бы наш Белинский. Этот «романтизм» от деловитости нового мира отличался не только возвышенно-всеобщими устремлениями в неопределённую бесконечность, но и совершенно не современным и диким, хотя поэтическим, демократизмом отдельных узоров на ковре жизни.

ГЛАВА XLVI. ОБ ИМЕНАХ

Это шекспировская глава.

Некоторые имена: Жан, Гильом, Бенуа не пользуются уважением. Благозвучное имя помогает в жизни. Ироническое одобрение реформации, наполнившей мир благочестивыми именами Мафусаила, Иезекиила и Малахии. Не следует латинизировать имена, этим путём «мы забираемся неведомо куда». Плохой обычай называться по имени поместья. Величайшая путаница в родословной. Выскочки присваивают себе множество новых генеалогических титулов, выдумываются сказки о родстве с королями и т.д. Ирония над этими «дурацкими выдумками». «Чем темнее происхождение, тем удобнее оно для такой подделки». Нужно довольствоваться тем, чем довольствовались наши отцы. «У нас есть достаточно благородства, если мы умеем поддержать его как следует».

Гербы находятся не в большей безопасности, чем фамильные прозвища. На моём гербе по лазурному полю рассеяны золотые трилистники и золотая лапа льва держит щит, пересечённый красной полоской. Какой привилегией связаны эти изображения с моим домом? Один из зятьёв перенесёт их в свою семью; какой-нибудь приобретатель тёмного происхождения сделает их своим первым гербом. Нет вещи, которая была бы более подвержена переменам и порождала бы столько путаницы.

Но что же такое *имя* вообще? На какой основе покоится слава, известность? Громкое имя – миф. «Ведь, в конце концов, это Пьер или Гильом его носят, его хранят, имеют его своим достоянием. О, какая безудержная смелость присуща нашей надежде! Она даёт силу смертному во мгновение ока захватить в свою власть бесконечность, неизмеримость, вечность. Природа подарила нам на забаву великолепную игрушку!»

Историческая путаница имён. Имя – это только сочетание звуков. Заимствование чужой славы. Самозванцы. «Кто может помешать моему конюху назваться Помпеем Великим?» – это Шекспир.

Имя здесь – символ противоречия между явлением и сущностью, номинальным и реальным. Старое, прочное (или кажущееся прочным) соответствие между названием и фактом рушится. Нескладица наполняет мир. Реформаторы и жулики хотят исправить или приспособить к своим нуждам действительность при помощи изменения имён. Генеалогическая форма скептицизма. Этот скептицизм отрицает не только выродившуюся веру в имя, но подкапывается под самую основу веры. В громком имени для людей заключено стремление выйти из своих пределов, оставить за собой бесконечность, овладеть миром посредством звука. Это ложная, детская форма истинной общественности. Ничтожество её перед лицом реальности. У Монтеня некий, молчаливо допускаемый, идеал соответствия между именем и действительным положением, звуком и делом.

ГЛАВА XLVII. О НЕНАДЁЖНОСТИ НАШИХ СУЖДЕНИЙ

Эта глава наполнена диалектическими примерами. Её основное содержание – справедливость противоположного.

Плохо, если, опьянённые победой, мы останавливаемся у начала и даём неприятелю возможность оправиться. Но так же плохо, не зная меры, необузданно и ненасытно пользоваться плодами победы, пока она не превратится в поражение. «Опасно нападать на человека, у которого вы отняли все другие средства избавления, кроме оружия».

Нужно ли вооружать солдат пышно и богато или, наоборот, позволять своим солдатам издеваться над противником, или нет? Что лучше – воевать на своей территории или на чужой? Где нужно находиться командиру во время боя – впереди солдат или в безопасном месте? И т.д. Каждое из этих положений справедливо и несправедливо в одно и то же время.

«Иногда неблагоразумие имеет успех, а благоразумие нас обманывает. Судьба не разбирается в мотивах и не следует тем, которые более достойны; по произволу блуждает она то туда, то сюда» (Манилий, Astron, IV, 95).

Всё это приводит Монтеня к скептицизму, к идее субъективной ненадёжности мнений. Но есть и в этом скептицизме объективный момент:

«...В сущности, сами наши намерения и соображения в такой же мере, по-видимому, зависят от судьбы, и она придаёт также и нашим суждениям свойственный ей характер смутности и неуверенности». Различия мнений зависят от объективных «случайностей судьбы».

Существует ли какая-нибудь (а тем более закономерная) связь между «случайностью» нашего мнения и случайностью самого предмета, о котором это мнение высказывается, Монтень не исследует.

ГЛАВА XLVIII. О ЛОШАДЯХ «DESTRIERS»³¹

Лошади. Различные военные обычаи. Между прочим: сомнение в действенности огнестрельного оружия. Придёт время, когда мы откажемся от него.

ГЛАВА XLIX. О СТАРИННЫХ ОБЫЧАЯХ

Можно простить приверженность к своим собственным обычаям, «ибо это общий порок, свойственный не только простонародью, но и почти всем людям, что их желания и вкусы определяются теми формами жизни, которыми они окружены от рождения». Но непростительно быстрое изменение обычаев, капризы моды. Отвергнутое снова возвращается. «И нет среди нас человека, настолько остроумного, чтобы он не попался на удочку этого противоречия и не затемнял нечувствительно своего внутреннего и внешнего зрения».

Масса примеров различных обычаев, особенно из древности. Мнение о древних: как ни стараемся мы сравняться с ними в распушенности, это нам не удаётся. «Наши силы недостаточны для того, чтобы стать вровень с ними как в пороках, так и в добродетелях; ибо как первые, так и вторые свидетельствуют у них о такой духовной мощи, которая, без сравнения, превышает нашу; но чем меньшими силами располагает душа, тем меньше у нас средств сделать что-нибудь очень хорошее или очень дурное».

Величие в пороках – мысль диалектическая. Общий итог главы – удивление перед изменчивостью моды, при зависимости человеческих мнений от окружающей среды. Откуда же все перемены и такая лёгкость в этих переменах?

ГЛАВА L. О ДЕМОКРИТЕ И ГЕРАКЛИТЕ

Эта замечательная, полная шекспировского духа глава является как бы продолжением предыдущей. Мысль вмешивается повсюду, но иногда благоразумнее остановиться.

«Уже самое это познание, что дальше нельзя идти, есть черта, характеризующая подлинную природу предмета, и даже одна из тех черт, которыми мысль всего более гордится». Осторожность, отсутствие обязательства, свобода применения своих сил, предпочтение глубокого удара широкому.

Основная «форма» – неведение.

Наша мысль не в силах охватить всё, она не может рассматривать сразу более одного предмета, и рассматривает она его сообразно своей собственной природе.

«Вещи вне нас могут иметь своё самостоятельное значение, свою меру и свои условия существования, но внутри, в нас, мы выкраиваем их сообразно нашему их пониманию. Смерть ужасна для Цицерона, желательна для Катона, безразлична для Сократа. Здоровье, совесть, власть, наука, богатство, красота и их противоположности разоблачаются, входя в нашу душу, и получают от неё новую одежду и новую окраску: она делает их брюнетами или блондинами, яркими или тусклыми, горькими или сладкими, глубокими или поверхностными, как ей

угодно и как это подходит каждой из вещей; ибо вещи не огульно получают свой стиль, свои правила и формы, но каждая является царицей в своём государстве. Не будем поэтому оправдываться, ссылаясь на внешние свойства вещей; мы сами, мы должны быть за всё в ответе. Наше счастье и несчастье зависят только от нас. Сюда надлежит нам обращаться со своими дарами и обетами, а не к судьбе: она ничего не может поделать с нашими нравами и обычаями; наоборот, эти последние увлекают её с собой и формируют по собственному образцу».

Это рассуждение замечательно. Видно, что неведение и сомнение у Монтеня направлены к тому, чтобы парализовать односторонность и слабость наших душевных сил. Цель – формирование нашего духовного мира сообразно свойствам предмета, нами рассматриваемого. Но раз мы его воспринимаем в себя, нечего пенять на объективные свойства предмета. В противность всем прежним утверждениям Монтень доказывает, что судьба, то есть внешняя объективная сила, среда – ничто. Главное – мы сами, наши обычаи, наши «формы» и «стили», мы влечём за собой судьбу, мы меняем мир и мы искажаем его. Это понятие *человеческой формы* предметного мира очень важно, но важно также и чувство противоречия, заложенного в развитии этой формы, проявляющееся у Монтеня в принципе «неведения».

Человеческое начало всех дел человеческих. Что же мы находим в этом начале? «Среди отправлениях человеческой души имеются и низменные; кто не видит её с этой стороны, тот ещё не вполне её познал». Лучше всего познаётся эта сторона души в

обыденном, незаметном, незначительном положении. Истина затемняется на возвышенных позициях. Но характер души, в сущности, не изменяется от высоты или низменности предметов. «Всякое наше действие нас раскрывает... Любая мелочь, любое занятие человека разоблачает и обнаруживает его так же хорошо, как и всякое другое». Поэтому можно было бы наблюдать Александра за шахматной игрой. Игра приводит в действие все наши силы. Впрочем: «Иметь выдающиеся, превышающие средний уровень способности к такому легкомысленному занятию не приличествует порядочному человеку».

Это целая программа реализма: уметь видеть низменную сторону человека и наблюдать его на вершине обстоятельств и в самом обыкновенном и случайном положении. Мысль заключается, таким образом, в том, что следует отделять *человека* от *места*, что человеческий мир имеет свою собственную шкалу высоты, что обстоятельства по отношению к людям случайны. Монтень разделяет предмет и человеческое сознание или, вернее, констатирует их несовпадение. И, в конце концов, мысль об извращённости общественного мира, породившего такую недоступную познанию путаницу качеств и положений, не покидает Монтеня. Демокрит был весел, Гераклит – печален.

«Мне больше нравится настроение первого; не потому, что смех приятнее слёз, а потому, что в нём больше презрения к нам, потому что смех сильнее осуждает нас, чем слёзы; и, на мой взгляд, нет такого презрения, какого бы мы не заслужили. Жалость и сострадание связаны с известным уважением к

тому, чему мы сострадаем; вещам, над которыми мы смеёмся, мы не придаём никакой цены. Я полагаю, что в нас не так много злонамеренности, как суетности, не так много злобы, как глупости; мы исполнены не столько зла, сколько безрассудства, достойны не столько жалости, сколько отвращения».

Диоген презирал людей, Тимон их ненавидел. Монтень предпочитает первого, ибо «мы принимаем к сердцу то, что ненавидим». Он хочет как будто большего, чем человеконенавистничество. Но это большее – весёлое презрение к людям. Тимон, при всей своей мизантропии, более человечески ограничен, чем Диоген. (Но Диоген в своём презрении к людям, более глубоком, чем мизантропия, гуманнее и выше.) Ср. Шекспир – Тимон Афинский.

Конец главы – философия жизни Монтеня (интересно для понимания позиции Пушкина).

«В том же духе был тот ответ, который Статилий дал Бруту, когда тот обратился к нему с предложением присоединиться к заговору против Цезаря: он нашёл, что предприятие это справедливо, но не видел людей, достойных того, чтобы ради них стоило затрачивать какие бы то ни было усилия³²; он следовал учению Гегезия, который говорил: “Мудрец не должен ничего делать иначе, как для самого себя, ибо только он достоин того, чтобы было что-нибудь сделано”³³, – а также учению Феодора: “Что было бы несправедливо, если бы мудрец рисковал собой для блага своей страны и подвергал опасности мудрость ради безумцев”»³⁴.

ГЛАВА LI. О СУЕТНОСТИ СЛОВ

Красноречие обманчиво, риторика – орудие увлечения черни. «Помпей, Цезарь, Красс, Лукулл, Лентул, Метелл находили в красноречии большую опору, помогавшую им подняться до тех вершин власти, которых они, в конце концов, достигли, и оно больше, чем оружие, поддерживало их, когда они шли против воззрений прежнего, лучшего времени». Ссылка на Спарту, где ораторское искусство отнюдь не ценилось.

Итак – спартанский республиканизм и презрение к тирании, ей противопоставляется доброе старое время. И этот республиканизм совмещается с признанием монархии:

«Красноречие всего более процветало в Риме тогда, когда дела его были в самом худшем состоянии и когда в нём бушевали грозы гражданских войн; так запущенное и невозделанное поле всего гуще зарастает травами. И, по-видимому, те государства, в которых всё зависит от монарха, менее нуждаются в красноречии, чем прочие! Ибо толпе свойственны глупость и легкомыслие, вследствие чего она позволяет направлять себя и руководить собой при помощи красивых и благозвучных оборотов речи, не будучи в состоянии силою разума взвесить и познать истину вещей; но такое легкомыслие не так часто встречается у единодержавных правителей,

и их легче обезопасить от восприимчивости к этому яду путём хорошего воспитания и добрых советов. Ни из Македонии, ни из Персии не вышло ни одного выдающегося оратора».

Красноречие – надувательство, применённое к самым мелким предметам для превращения их в великие. Архитекторы, препирающиеся о пилястрах, архитравах и т.д., по поводу кухонной двери. «Когда вы слышите “метонимия”, “метафора”, “аллегория” и другие названия, употребляемые грамматиками, не кажется ли вам, что они должны означать какие-либо формы необычной и изысканной речи? Между тем эти термины применимы к болтовне вашей служанки».

Новое время охотно раздаёт гордые титулы римлян, мы стараемся с ними сравниваться на словах. Итальянцы присудили имя «божественного» Аретино, у которого нет ничего, кроме риторики. «И прозвание “великий” мы даём государям, которые величием своим ничуть не превышают средних людей из народа».

ГЛАВА LII. О БЕРЕЖЛИВОСТИ ДРЕВНИХ

Ряд примеров, подтверждающих название этой главы.

ГЛАВА LIII. ОБ ОДНОМ ИЗРЕЧЕНИИ ЦЕЗАРЯ

Вместо того, чтобы обращать внимание на других и на вещи, находящиеся вне нас, было бы лучше «покопаться в нас самих». Наше недовольство настоящим и стремление поглотить всё большее количество вещей внешнего мира: наш вкус неустойчив и ненадёжен; ничего не умеет он удержать, ничем не даёт он нам насладиться по-настоящему. Человек, полагая, что это зависит от пороков, присущих самим вещам, вкушает и поглощает всё новые и новые вещи, которых он не знал до сих пор, с которыми он не знаком, и с ними связывает все свои надежды и упования, им воздаёт почёт и уважение, как говорит Цезарь: *Communi fit vitio naturae ut invisus, latitantibus atque incognitis rebus magis confidamus, vehementiusque exterreamur*³⁵.

Корень зла – в нас, а не в отсутствии каких-нибудь вещей. Без этой мысли не было бы и социализма. Монтень опирается в этой главе преимущественно на Лукреция.

ГЛАВА LIV. О ПУСТЫХ УХИЩЕНИЯХ

Ложные виды искусства и ухищрений. Человек, бросавший просяное зерно в игольное ушко. «Я вижу поразительное доказательство слабости нашего рассудка в том, что он оценивает вещи по их редкости и новизне, а также по трудности их достижения, как будто бы с этим была связана их добротность и полезность».

Видимо, Монтеня затрудняет проблема общественно необходимого труда. Ср<авните> ранее высказанные им идеи о трудности достижения как меры ценности.

От этого выпада против ложных ухищрений искусства Монтень переходит к идее единства противоположностей. Масса примеров. Обычаи двора и трактиров сходятся.

«Крайний страх и крайний пыл храбрости одинаково расстраивают желудок и вызывают понос». Слабость от холода и сильного вожделения, крайности сходятся, но при этом быть в середине далеко не во всех отношениях лучше. «Демокрит говорил, что боги и животные имеют более острые чувства, чем люди, занимающие середину». Глупость и мудрость сходятся в одинаковом чувстве и отношении к напастям. Хуже всего средним людям – они чувствуют несчастья и не в состоянии их переносить.

Наконец, основная формула философии Монтеня – формула хорошей и дурной середины, если можно так выразиться. Соединение крайностей и блуждание между ними, сочетание достоинств и сочетание недостатков. У Монтеня эта формула носит в себе все характерные черты дворянского демократизма.

«Можно, очевидно, сказать, что существует два невежества: безграмотное – до науки, и докторальное – после науки; наука создаёт и порождает второе совершенно так же, как уничтожает и разрушает первое.

Умы простые, мало любознательные и мало просвещённые, становятся добрыми христианами, веруют в простоту души, с уважением и покорностью подчиняются законам. В умах средней силы и средних способностей зарождается ошибочность мнений; они следуют видимости первых впечатлений и считают себя вправе приписывать нашей глупости и тупости то, что мы остаёмся на старой проторённой дороге, – я разумею тех из нас, которые не просвещены наукой. Крупные умы, наиболее основательные и ясновидящие, делают добрыми верующими иного рода; путём продолжительного и пристального изучения они глубоко проникают в истины священного писания и, озарённые их светом, начинают постигать мистическую и божественную тайну учения нашей церкви. Мы видим поэтому, что те, которым удалось подняться на эту высшую ступень со второй, испытывают величайшую радость и удовлетворение, достигнув как бы последней грани христианского просвещения, и пользуются одержанной ими победой, утешаясь ду-

шой, совершая дела милосердия, улучшая свои права и проявляя большую скромность. В этот ранг я не хотел бы возвести людей иного склада, которые, чтобы очиститься от всякого подозрения в своих былых грехах и убедить нас в своей твёрдости, становятся нетерпимыми, нескромными и несправедливыми в оценке нашего образа жизни, клеймят его и осыпают жестокими упрёками.

Простые крестьяне – порядочные люди; порядочные люди также философы, или, как мы их теперь называем, личности сильные и светлые по природе, обогащённые широким просвещением и полезными знаниями; ублюдки, пренебрегшие первым выходом, который даёт безграмотность, и не смогшие достигнуть второго (сидящие между двух стульев, как я и столь многие другие), опасны, бестолковы, докучливы; это они вносят смуту в мир. Поэтому я, со своей стороны, стараюсь, насколько могу, вернуться к первоначальному и естественному состоянию, которое я так напрасно попытался покинуть.

Народная и чисто природная поэзия обладает первобытной свежестью и очарованием, которые ставят её на один уровень, по степени искусства, с высшими красотами совершенной поэзии, как мы это видим на примере гасконских песенок и тех песен, которые, как нам сообщают, сочинены народами, не знающими никаких наук, лишёнными даже письменности; напротив, посредственная поэзия, останавливавшаяся между этими двумя крайностями, вызывает пренебрежительное к себе отношение, не пользуется почётом и не имеет цены».

Но каков же тот слой людей, к которым, в конце концов, обращается Монтень и его «Опыты»?

«Может случиться, думается мне, что они ничего не скажут ни умам грубым и вульгарным, ни умам исключительным и выдающимся; первым – потому что они их не поймут, вторым – потому что они их поймут слишком хорошо; придётся им пробавляться читателями, принадлежащими к средней области».

Так и случилось в истории. И это положение фатально повторялось впоследствии. Как ни презирал Пушкин «мелкое общество», стоящее между высшим светом и крестьянством, а всё же непосредственно он был воспринят, прочитан, одобрен и осуждён именно этими людьми середины.

ГЛАВА LV. О ЗАПАХАХ

«Лучше всего пахнет женщина, когда она ничем не пахнет» (Плавт). Впрочем, благовония могут быть использованы медициной.

ГЛАВА LVI. О МОЛИТВАХ

Следует чаще употреблять простую молитву «Отче наш», она лучше сложных. Плохи люди, которые поминутно молятся богу, но не исправляются в своих поступках. «И поведение человека, соединяющего гнусную жизнь с благочестием, в некоторых отношениях ещё более заслуживает порицания, чем поведение человека, во всём верного себе и всегда одинаково развратного». О людях, которые благочестивы из соображений выгоды. О нежелании менять католицизм на реформированную веру. Католическая церковь права, запрещая слишком большое переплетение религии с обыденной жизнью, напр<имер>, распевание псалмов Давида.

Монтень выступает против людей, которые священное писание желают перевести на народный язык. Лучше неведение, чем самонадеянность и заносчивость. Вообще религиозное учение нужно держать подальше от страстей, от людей грубых и невежественных, от философии и риторики.

«Божественные основания можно рассматривать более достойно и с большим уважением в отдельности, в их собственной связи, а не в смеси с человеческими рассуждениями».

Обоснование светской философии:

«Я выдаю человеческие фантазии, и мои в том числе, просто за человеческие фантазии и рассматриваю их отдельно, как таковые: я не утверждаю, что они установлены и упорядочены указаниями свыше, а потому не подлежат сомнению и изменению; это предмет мнения, а не предмет веры; что-то, что я мыслю, как сам умею, а не то, во что я верю согласно откровению божью; это светская, а не церковная манера говорить, но неизменно полная уважения к религии; так опыты, производимые детьми, не наставительны, а наоборот, нуждаются в наставлении».

ГЛАВА LVII. О ВОЗРАСТЕ

Естественная смерть – самая редкая смерть. Мы должны считать нашу жизнь подарком; мы могли уже давно умереть. Вот почему следует понизить возрастной ценз в обществе (при занятии должностей и пользовании имуществом). Люди созревают к 20 годам. Лучшее они создают между 20 и 30-тью. После этого знания и опыт растут, живость и энергия увядают.

Конец первой книги.

Примечания

- 1 Плутарх. Как можно хвалить самого себя, гл. 8.
- 2 «Скорбь», «печаль» – по-французски *tristesse*; итальянское слово *tristezza* часто означает «злобу», «коварство».
- 3 Несчастлива душа, тревожащаяся о будущем *<лат.>*. Сенека. *Epist.* 98. <Письма, 98, 6.>
- 4 Диодор Сицилийский, I, 72.
- 5 Тит Ливий, XXXV, 48.
- 6 Кто находится везде, Максим, тот нигде не находится *<лат.>*. Марциал, VII, 73.
- 7 Платон. *Teages*.
- 8 В «Федоне».
- 9 Не быть жадным до денег значит иметь деньги; не делать излишних покупок значит иметь доход *<лат.>*. Цицерон, *Paradox*, VI, 3.
- 10 Плод богатства – изобилие; признак изобилия – довольство *<лат.>*. Цицерон. *Paradox*, VI, 2.
- 11 *От ред.* Это отрывок, воспроизведённый на французском языке в старой орфографии, из книги М. Монтеня «Опыты», книга I, глава XIV, самый конец (приводится в переводе А.С. Бобовича):
«Итак, и довольство, и бедность зависят от представления, которое мы имеем о них; сходным образом и богатство, равно как и

слава или здоровье, прекрасны и привлекательны лишь настолько, насколько таковыми находят их те, кто пользуется ими. Каждому живётся хорошо или плохо в зависимости от того, что он сам по этому поводу думает. Доволен не тот, кого другие мнят довольным, а тот, кто сам мнит себя таковым. И вообще, истинным и существенным тут можно считать лишь собственное мнение данного человека.

Судьба не приносит нам ни зла, ни добра, она поставляет лишь сырую материю того и другого и способное оплодотворить эту материю семя. Наша душа, более могущественная в этом отношении, чем судьба, использует и применяет их по своему усмотрению, являясь, таким образом, единственной причиной и распорядительницей своего счастливого или бедственного состояния. Внешние обстоятельства принимают тот или иной характер в зависимости от наших внутренних свойств, подобно тому, как наша одежда согревает нас не своей теплотой, но нашей собственной, которую, благодаря своим свойствам, она может задерживать и накапливать. Тот, кто укутал бы одеждою какой-нибудь холодный предмет, точно таким же образом поддержал бы в нём холод: так именно и поступают со снегом и льдом, чтобы предохранить их от таяния.

Как учение – мука для лентяя, а воздержание от вина – пытка для пьяницы, так умеренность является наказанием для привыкшего к роскоши, а телесные упражнения – тяготою для человека изнеженного и праздного, и тому подобное. Вещи сами по себе не являются ни трудными, ни мучительными, и только наше малодушие или слабость делают их такими. Чтобы правильно судить о вещах возвышенных и великих, надо иметь такую же душу; в противном случае мы припишем им наши собственные изъяны. Весло, погружённое в воду, кажется надломленным. Таким образом, важно не только то, что мы видим, но и как мы его видим.

А раз так, то почему среди стольких рассуждений, которые столь различными способами убеждают людей относиться с презрением к смерти и терпеливо переносить боль, нам не найти какого-нибудь годного также для нас? И почему из такого множества доводов, убедивших в этом других, каждому из нас не избрать для себя такого, который был бы ему больше по нраву? И если ему не по силам лекарство, действующее быстро и бурно и исторгающее болезнь с корнем, то пусть он примет хотя бы смягчительного, которое принесло бы ему облегчение. *Opinio est quaedam effeminata ac levis, nec in dolore magis, quam eadem in voluptate: qua, cum*

liquescimur fluimusque mollitia, apud aculeum sine clamore ferre non possumus. Totum in eo est, ut tibi imperes. (Бывает [у некоторых] такая изнеженность и слабость, и не только в страданиях, но и в разгар наслаждений; и когда из-за неё мы размягчаемся и теряем всякую волю, то даже укусы пчелы – и тот исторгает у нас стенания... Дело в том, чтобы научиться владеть собой (лат.; Цицерон. Тускуланские беседы, II, 22.)).

Впрочем, и тот, кто станет чрезмерно подчёркивать остроту наших страданий и человеческое бессилие, не отделяется от философии. В ответ ему она выдвинет следующее бесспорное положение: «Если жить в нужде плохо, то нет никакой нужды жить в нужде».

Всякий, кто долго мучается, виноват в этом сам.

Кому недостаёт мужества как для того, чтобы вытерпеть смерть, так и для того, чтобы вытерпеть жизнь, кто не хочет ни бежать, ни сражаться, чем поможешь такому?»

12 См.: Экклезиаст, гл. III, ст. 12.

13 Я хочу, чтобы смерть захватила меня посреди работы *<лат.>*. Овидий. *Amor*, II, 10, 36. <Любовные стихотворения.>

14 *От ред.* Ремоний – от *remoneo* (*лат.*) – вновь напоминать, опять указывать.

15 *От ред.* Речь идёт о французском издателе Монтеня Пьере Косте (Pierre Coste, 1668–1747), выпустившем шесть изданий «Опытов» Монтеня между 1723 г. и 1745 г. П. Кост указал в примечаниях, что данная глава заимствована Монтенем у Сенеки (см. прим. 16).

16 Сенека. <Государственный деятель Демад упомянут в тексте: Сенека. О благодеяниях, VI, 38.>

17 Ибо если что бы то ни было, изменившись, выходит за свои границы, это всегда означает смерть того, что было раньше *<лат.>*. Лукреций, II, 753–754.

18 Харонд. Диодор Сицилийский, XII, 17.

19 Увы, раны, от которых я страдаю, нанесены моим собственным оружием *<лат.>*. Овидий. *Heroides* <Героиды>, II, 48.

20 Фукидид, III, 52.

21 Благороден предлог *<лат.>*. Теренций. *Andr.* <Девушка с Андроса>, 141.

- 22 Не могут быть одобрены никакие изменения в старых учреждениях <лат.>. Тит Ливий, XXXIV, 54.
- 23 Кто же может не уважать старины, сохранённой и переданной нам в самых блестящих памятниках <лат.>? Цицерон. De Divin <О гадании>, I, 40.
- 24 <Исократ> Беседа с Никоклесом, с. 21.
- 25 Довериться вероломному значит дать ему возможность вредить <лат.>. Сенека. Oedip <Эдип>, д. III, ст. 686.
- 26 Агезилай <Агесилай II>.
- 27 Александр Македонский.
- 28 Сенека. Epist, 103 <лат., Письма, 103, 5>.
- 29 Сенека. Epist, 40 <Письма, 40, 5>.
- 30 *От ред. De Constantia Sapientis (лат.)* – название произведения Сенеки «О стойкости мудреца».
- 31 *От ред. Destrier (англ.)* – боевой конь.
- 32 Плутарх. Жизнь Брута, гл. 3.
- 33 Диоген Лаэртций, II, 95.
- 34 Диоген Лаэртций, II, 98.
- 35 В силу обычного порока нашей природы к вещам, которых мы никогда не видали, которые от нас скрыты и нам неизвестны, мы относимся с наибольшим доверием и всего сильнее дорожим ими. Цезарь <лат.>. De Bello civili <О Гражданской войне>, II, 4.

Указатель имён

А

Август, Гай Юлий Цезарь Октавиан Август (63–14 н.э.), римский государств. деятель, император 72
 Агезилай II (444–358 до н.э.), спартанский царь 70
 Александр, Александр Великий (356–323 до н.э.), македонский царь (с 336 до н.э.), выдающийся полководец древности 73, 127
 Анакреон (VI–V в. до н.э.), греч. поэт 104
 Арак (V–IV вв. до н.э.), военачальник в Спарте 70
 Аретино Пьетро (1492–1554), итальянский сатирик, публицист 130
 Аристотель (384–322 до н.э.), греч. философ и учёный 81, 84

Б

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848), лит. критик, публицист 119
 Брут, Марк Юлий Брут Ципион (85–42 до н.э.), римский государств. деятель 128

В

Вольтер, Мари-Франсуа-Аруэ (1694–1778), франц. философ 51

Г

Гален Клавдий (129–ок. 201), римский врач, естествоиспытатель 76
 Галл, Гай Вибий Требониан (206–253), римский император (251–253) 54
 Гегезий, Гегезий Кирийский (Гегесий, ок. 320–280 до н.э.), греч. философ 128

Гераклит, Гераклит из Эфеса (544–483 до н.э.), греч. философ 125, 127
 Гораций, Квинт Гораций Флакк (65–8 до н.э.), римский поэт 91

Д

Давид (XI–X вв. до н.э.), родоначальник иудейских царей 136
 Демад (IV в. до н.э.), греч. оратор 56
 Демокрит (ок. 460–ок. 370 до н.э.), греч. философ 125, 127, 132
 Диана де Фуа, графиня де Гюрзой (Гюрсой), жена близкого приятеля Монтеня 81
 Диоген Лаэртский (I-я пол. III в.), античный историк философии 128
 Диодор Сицилийский (90–30 до н.э.), греч. историк 19
 Дю Беллэ Иоахим (1525–1560), франц. поэт 91

И

Исократ (Исократ, 436–338 до н.э.), греч. оратор 61, 67

К

Кант Иммануил (1724–1804), нем. философ 25, 56
 Карл Великий (742–814), король франков, римский император (с 800 г.) 62
 Карл IX (1550–1574), король Франции (с 1560 г.) 104
 Кассий, Гай Кассий Лонгин (85–42 до н.э.), римский военный и государств. деятель 30

Катон Младший, Марк Порций (95–46 до н.э.), римский государств. деятель 69, 125
 Клеанф (331–ок. 231 до н.э.), греч. философ 82
 Констан Бенжамен (1767–1830), франц. писатель 26
 Корнелий Непот (ок. 100–ок. 25 до н.э.), римский историк 117
 Кост Пьер (1668–1747), франц. издатель и комментатор Монтеня 56
 Красс Марк Лициний (115–53 до н.э.), римский военный и государств. деятель 129

Л

Ла Боэси Этьенн (Боэти, 1530–1563), друг Монтеня, франц. поэт 96–99
 Лентул Гней Корнелий (ок. 410–ок. 360 до н.э.), римский военный и государств. деятель 129
 Лизандр (Лисандр, 452–396 до н.э.), спартанский полководец 70
 Лизимах (Лисимах, ок. 361–281 до н.э.), телохранитель, полководец Александра Великого, царь Фракии (с 324 до н.э.), царь Македонии (с 285 до н.э.) 36
 Лукреций Тит Кар (99–55 до н.э.), римский поэт, философ 114, 131
 Лукулл Луций Лициний (ок. 117–ок. 56 до н.э.), римский военный и государств. деятель 129

Людовик XI (1423–1483), король Франции (1461–1483) 74

М

Мандевиль Бернард (1670–1733), англ. писатель франц. происхождения 56
 Манжен, аббат, Манжен Антид (1741–1825), врач, автор книги «Éducation de Montaigne, ou L'art d'enseigner le latin à l'instar des mères latines» (Воспитание Монтеня, или метод обучения латыни по примеру матерей-латынянок) 93
 Манилий Марк (I в. н.э.), римский поэт и астролог 122
 Маргарита Наваррская (1492–1549), королева Наварры, одна из первых женщин-писательниц во Франции 34
 Марциал Марк Валерий (ок. 40–104 н.э.), римский поэт 27
 Менандр (ок. 343–ок. 291 до н.э.), греч. драматург 91
 Метелл, Квинт Цецилий Метелл Непот (I в. до н.э.), римский военный и государств. деятель 129

Н

Ниобея, героиня древнегр. мифа 16

О

Овидий, Публий Овидий Назон (43 до н.э.–17 н.э.), римский поэт 51
 Октавий, Гай Октавий (ок. 101–59 до н.э.), римский военный

и государств. деятель, отец Августа 69

П

Пелопид (ок. 410–364 до н.э.), греч. военный и государств. деятель 14
 Перикл (490–429 до н.э.), греч. государств. деятель 70
 Пифагор (580–ок. 500 до н.э.), греч. математик и философ 87
 Плавт, Тит Макций Плавт (254–184), римский комедиограф 135
 Платон (427–347 до н.э.), греч. философ 18, 31, 38, 77, 79, 83, 90, 100–102
 Плутарх (ок. 46–ок. 127), греч. писатель, историк 70
 Помпей, Гней Помпей Великий (106–48 до н.э.), римский военный и государств. деятель 121, 129
 Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) 73, 75, 78, 103, 128, 135

Р

Ронсар (Ronsard) Пьер де (1524–1585), франц. поэт 91

С

Светоний, Гай Светоний Транквилл (ок. 69–140), римский историк 92
 Сенека Люций Анней (ок. 4 до н.э. – 65 н.э.), римский философ 41, 56, 103

Сократ (ок. 470–399 до н.э.),
греч. философ 31, 32, 36, 63,
75, 84, 125
Солон (ок. 640–ок. 559 до н.э.),
греч. законодатель, поэт 21
Стаилий, Тит Стаилий Тавр
(I в. до н.э.), римский военный
деятель 128
Сулла Луций Корнелий (138–
78 до н.э.), римский военный
и государств. деятель 69

Т

Теренций, Публий Теренций Афр
(ок. 195–159 до н.э.), римский
драматург 111
Тимон, Тимон из Флиунта (320–
230 до н.э.), греч. философ 128
Тимон Афинский, герой пьесы
Шекспира «Тимон Афинский»
128
Тит Ливий (59–17 до н.э.), римский
историк 20, 66

Ф

Феодор (Теодор, IV в. до н.э.),
греч. философ 36, 128
Филипп, врач Александра Маке-
донского 73
Филопемен (253–183 до н.э.),
греч. военный и государств.
деятель 70
Фукидид (ок. 460–ок. 400 до н.э.),
греч. историк 65

Х

Харонд (VII в. до н.э.), греч. за-
конодатель 64
Хилон (ок. VI в. до н.э.), греч. госу-
дарств. деятель, поэт 94

Ц

Цезарь Гай Юлий (100 или
102–44 до н.э.), римский
государств. деятель 69, 74, 92,
128, 129, 131
Цинна Луций Корнелий (ок. 128–
84 до н.э.), римский госу-
дарств. деятель 72
Цицерон Марк Туллий (106–
43 до н.э.), римский госу-
дарств. деятель, оратор 113,
125

Ш

Шекспир Уильям (1564–1616),
англ. драматург, поэт 110,
120, 121, 125, 128
Шиллер Иоганн Кристоф Фрид-
рих (1759–1805), нем. поэт,
драматург 92

Э

Эпаминонд (ок. 418–362 до н.э.),
греч. военный и государств.
деятель 15
Эпикур (ок. 342–ок. 271 до н.э.),
греч. философ 105

Ю

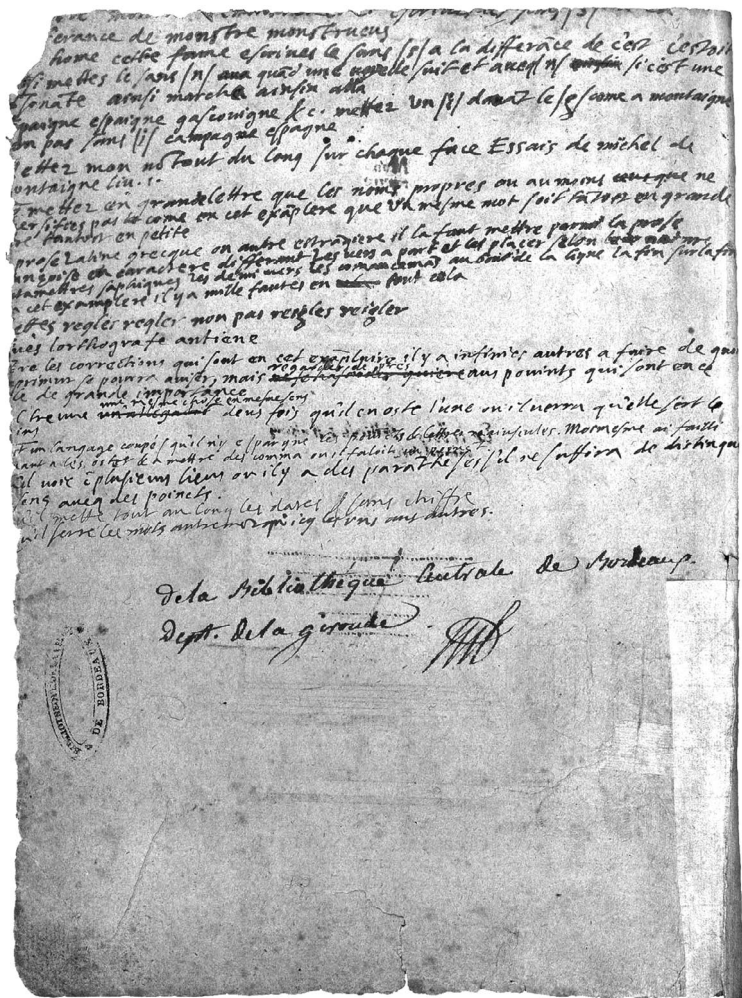
Юлий Цезарь – см. Цезарь

Содержание

От издательства	7
Мих. Лифшиц. Монтень. Опыты. Том первый. Книга первая	
К читателю	13
Глава I. Различными средствами достигается одинаковая цель	14
Глава II. О скорби	16
Глава III. Наши душевные движения увлекают нас за пределы нас самих	18
Глава IV. Как душа обращает свои страхи на ложные предметы за неимением настоящих	23
Глава V. Должен ли начальник осаждённой крепости выходить для переговоров	24
Глава VI. Час переговоров – опасный час	24
Глава VII. О том, что наши поступки надо судить по нашим намерениям	25
Глава VIII. О праздности	27
Глава IX. О лжецах	28
Глава X. О речи быстрой и медленной	30
Глава XI. О предсказаниях будущего	31
Глава XII. О твёрдости	33
Глава XIII. Церемония встречи королей	34

Глава XIV. О том, что вкус добра и зла зависит в значительной мере от того мнения, какое мы о них имеем	36
Глава XV. Безрассудное упорство в отстаивании занятой позиции наказывается	46
Глава XVI. О наказании за трусость	46
Глава XVII. Приёмы некоторых посланников	47
Глава XVIII. О страхе	48
Глава XIX. О том, что нельзя судить о нашем счастье до нашей смерти	48
Глава XX. О том, что быть философом значит уметь умирать	49
Глава XXI. О силе воображения	54
Глава XXII. Выгоды одного есть убыток другого	56
Глава XXIII. О привычке и о том, что не легко менять принятый закон	58
Глава XXIV. Различные последствия того же самого умысла	72
Глава XXV. О педантизме	79
Глава XXVI. Об обучении детей (мадам Диане де Фуа, графине де Гюрзой)	81
Глава XXVII. Безумно судить об истинном и ложном на основании нашей учёности	94
Глава XXVIII. О дружбе	96
Глава XXIX. Двадцать девять сонетов Этьенна де Ла Бозе	99
Глава XXX. Об умеренности	100
Глава XXXI. О каннибалах	101
Глава XXXII. О божественном предначертании надо судить осмотрительно	105
Глава XXXIII. О том, как жертвуют жизнью, убегая от наслаждений	105

Глава XXXIV. Судьба часто пересекает пути разума	106
Глава XXXV. О недостатках наших учреждений	106
Глава XXXVI. Обычай носить одежды	107
Глава XXXVII. О Катоне Младшем	108
Глава XXXVIII. Как одна и та же вещь заставляет нас плакать и смеяться	110
Глава XXXIX. Об уединении	111
Глава XL. Размышление о Цицероне	113
Глава XLI. О том, что слава не передаётся другому	113
Глава XLII. О неравенстве, имеющемся среди нас	114
Глава XLIII. О законах против роскоши	118
Глава XLIV. О сне	118
Глава XLV. О битве при Дрё	119
Глава XLVI. Об именах	120
Глава XLVII. О ненадёжности наших суждений	122
Глава XLVIII. О лошадях «destriers»	123
Глава XLIX. О старинных обычаях	124
Глава L. О Демокрите и Гераклите	125
Глава LI. О суетности слов	129
Глава LII. О бережливости древних	131
Глава LIII. Об одном изречении Цезаря	131
Глава LIV. О пустых ухищрениях	132
Глава LV. О запахах	135
Глава LVI. О молитвах	136
Глава LVII. О возрасте	138
Примечания	139
Указатель имён	143



Иллюстрации

С. 11 – страница рукописи Мих. Лифшица «Монтень. Выписки и комментарии. 1930-е гг.», глава I-ая, начало II-ой главы.

С. 53 – страница рукописи Мих. Лифшица «Монтень. Выписки и комментарии. 1930-е гг.», конец XX-ой, начало XXI-ой главы.

С. 150 – страница рукописи Монтеня: правка «Опытов».

Замеченные ошибки и опечатки в предыдущих книгах
М.А. Лифшица издательства «GRUNDRISSE»

I. Мих. Лифшиц. Varia.

С. 43, 4-ая строка сверху, следует читать: понятие зеркала раздваивается.

Примечание 2, с. 52, следует читать: $2d$ – сумма углов треугольника.

С. 55, 2-ая строка снизу, следует читать: проистекающее из такого взгляда.

II. Мих. Лифшиц. Письма В. Досталу, В. Арсланову, М. Михайлову.

На с. 155, седьмая строка снизу, и на стр. 161, вторая строка сверху, следует читать: открытка (вместо «телеграмма»).

Примечание 273, с. 259, следует читать: Возможно, Арсланов Виктор Григорьевич.

Примечание 280, с. 259, четвёртая строка снизу, следует читать: Г.П. Агальцев.

Примечание 316, с. 263, третья строка примечания снизу, следует читать: В конце 74-го г. (вместо «В начале 80-х гг.»).

Мих. Лифшиц. Монтень. Выписки и комментарии. 1930-е гг. –
М.: ООО «Издательство Грюндриссе», 2012. – 152 с.
ISBN 978-5-904099-04-6
Тираж 300 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Типография Момент»,
Московская обл., г. Химки, Библиотечная ул., д. 11

Книги издательства «Grundrisse» можно купить:

в книжном магазине «Фаланстер»:
Москва, М. Гнездниковский пер., 12/27 (вход в арке)
<http://www.falanster.su>
(495) 749-57-21

в книжном магазине «Гилея»:
Москва, Тверской б., д. 9
<http://www.gileia.org>
(495) 925-81-66

Оптовая продажа:
ООО «Берроунз»
(495) 971-47-92
ООО «Мир интеллектуальной книги»
(495) 786-36-35